
Ора Лайтман
Одна тайна на двоих
Лондонский роман 1881

Ора Лайтман

Одна тайна на двоих

«Автор»
2026

Лайтман О.

Одна тайна на двоих / О. Лайтман — «Автор», 2026

Как выйти замуж?Тётушка Кэтрин Мэйфилд знает ответ: правильное платье, правильный бал, правильный жених с восемью тысячами годовых.У самой Кэтрин ответ другой: никак. Ей двадцать один, у неё нет ни дома, ни отца, ни приданого — зато есть тайное письмо из медицинской школы и обещание, которое она дала над умирающим отцом. Натан Голдсмит богат, ироничен и пресыщен красавицами, роняющими перед ним веера. Он обожает загадки — и впервые встречает женщину, которая разгадывает их все. Но жениться ему позволено только на еврейке, а мать уже выбрала невесту.Ночная библиотека. Записки, спрятанные в книгах. И одна тайна на двоих.

© Лайтман О., 2026
© Автор, 2026

Ора Лайтман
Одна тайна на двоих

Одна тайна на двоих
Лондонский роман, 1887

Автор: Ора Лайтман

Моему мужу.
«Куда ты пойдёшь, туда и я пойду».

ОГЛАВЛЕНИЕ
Глава 1. Первая ночь в Дербишире 4
Глава 2. Решение 18
Глава 3. Лондон 27
Глава 4. Хантер-стрит 43
Глава 5. Библиотека 60
Глава 6. Записки в книгах 74
Глава 7. Ответная загадка 91
Глава 8. Рассвет в зимнем саду 104
Глава 9. Бал 120
Глава 10. Цена долгов 136
Глава 11. Любимая 154
Глава 12. Лето 169
Глава 13. «Гантерс» 186
Глава 14. Стройка века 204
Глава 15. Жизнь 223
Глава 16. Мать 240
Глава 17. Дом напротив 260
Глава 18. Над книжной лавкой 274
Глава 19. Возвращение тётушки 289
Глава 20. Муж и жена 305
Глава 21. Новый свет 315
Глава 22. Руфь 328
Глава 23. Пять лет спустя 352

Глава 1. Первая ночь в Дербишире

Октябрь 1886 года выдался в Дербишире дождливым. Туман с холмов спускался в долину рано, задолго до сумерек, и к пяти часам деревня Литтл-Холлоу тонула в сером молоке: только окна светились жёлтыми пятнами да где-то лаяла собака, которой тоже было неуютно.

Кэтрин Мэйфилд стояла у окна гостиной и смотрела на дорогу. Отец уехал ещё на рассвете — на ферму Брэдли, за шесть миль, где у молодой миссис Брэдли начались роды, первые и трудные. Мальчишка с фермы прибежал в половине пятого утра, мокрый, без шапки, и так колотил в дверь, что проснулась даже глуховатая Марта. Доктор Мэйфилд оделся за три минуты. Кэтрин помнила, как он, уже в дверях, обернулся, поправил на плече ремень старого кожаного саквояжа и сказал:

— Не жди меня к обеду, Кэтти. Дети не смотрят на часы, когда решают появиться на свет.

Теперь было почти шесть вечера, а его всё не было.

— Мисс Кэтрин, вы бы отошли от окна, — проворчала Марта, внося поднос с чайником. — От того, что вы туда глядите, хозяин быстрее не приедет. А чай остынет.

— Я не гляжу, — сказала Кэтрин, не отрываясь от стекла. — Я думаю.

— Вы думаете, а я третий раз чайник грею.

Марта служила у Мэйфилдов двадцать два года — с тех пор, как доктор привёз в Литтл-Холлоу молодую жену. Миссис Мэйфилд умерла, когда Кэтрин было шесть, и с тех пор Марта считала себя вправе ворчать на всех домашних, включая хозяина, а на Кэтрин — особенно.

Кэтрин всё-таки отошла от окна, села в кресло у камина и взяла книгу, которую читала с утра. Это был потрёпанный том «Физиологии» Карпентера — с карандашными пометками отца на полях. Мелкий, торопливый почерк: «Проверить на практике», «Не согласен!», «Ср. случай старика Хиггинса, 1879». Кэтрин любила эти пометки больше, чем сам текст. Ей казалось, что отец сидит рядом и спорит с автором, а она подслушивает.

Читать «неженские» книги отец разрешил ей в двенадцать лет. Тогда она пробралась в его кабинет и стащила анатомический атлас — хотела понять, отчего умерла мама. Отец нашёл её на чердаке, бледную, с атласом на коленях. Кэтрин ждала, что он рассердится. Но он сел рядом на пыльные доски, долго молчал, а потом сказал:

— Знание не должно пугать, Кэтти. Пугает незнание. Если хочешь что-то понять — спрашивай меня. Я отвечу на всё, на что сумею.

И он отвечал. Восемь лет он отвечал на её вопросы — за ужином, в двуколке по дороге к больным, вечерами у этого самого камина. Соседи шептались, что доктор растит из дочери «синий чулок» и что ни один порядочный джентльмен не женится на девушке, которая может за чаем объяснить, как устроена печень. Отец на это только посмеивался.

— Порядочный джентльмен, — говорил он, — как раз и женится на девушке, с которой есть о чём поговорить. А непорядочные нам не нужны.

Часы на каминной полке пробили шесть. Кэтрин закрыла книгу.

И тут она услышала стук колёс.

* * *

Он вошёл, принеся с собой запах дождя, мокрой шерсти и карболки. Высокий, чуть сутулый, с седеющими висками и мягкими серыми глазами, которые всегда смотрели на собеседника так, будто тот — самый важный человек на свете. Пальто его промокло насквозь, с полей шляпы текло.

— Мальчик, — сказал он с порога, и лицо его осветилось усталой, счастливой улыбкой. — Восемь фунтов, кричит так, что на соседней ферме коровы перестали доиться. Мать жива и здорова. Брэдли плакал, как ребёнок, и хотел подарить мне поросёнка.

— И ты взял? — спросила Кэтрин, принимая у него шляпу.

— Я сказал, что поросёнок мне ни к чему, а вот если миссис Брэдли пришлёт к Рождеству своего яблочного пирога, я не откажусь. — Он стянул мокрое пальто и вдруг поморщился, опираясь рукой о косяк. — Устал. Дорогу размыло, Бесси дважды вязла по колено. Пришлось вылезать и толкать двуколку.

— Тебе нельзя толкать двуколку, — строго сказала Кэтрин. — Ты сам говорил доктору Грину, что в твои годы…

— В мои годы, — перебил отец, — я ещё могу помочь старой лошади выбраться из грязи. Не делай такое лицо, Кэтти. Ты становишься похожа на Марту.

— Я всё слышу! — донеслось из кухни.

Отец рассмеялся, и Кэтрин рассмеялась тоже.

Потом они ужинали — поздно, вдвоём, в маленькой столовой с потёртыми обоями в цветочек, которые мама когда-то выбирала сама. Марта подала баранину с картофелем и пудинг. Отец ел мало, больше рассказывал: о том, как ребёнок шёл неправильно и как он два часа поворачивал его руками, о том, как старая бабка Брэдли пыталась сунуть роженице под подушку нож «от нечистой силы», и как он не стал спорить, а просто попросил нож завернуть в чистое полотенце — «чтобы нечистая сила не порезалась».

— Ты всегда так делаешь, — сказала Кэтрин. — Никогда не споришь с ними.

— А зачем? — Отец отодвинул тарелку. — Старуха не верит в микробов, но верит в нож. Она восемьдесят лет так живёт. Если я начну смеяться над её ножом, она перестанет пускать меня в дом. А если я уважаю её нож — она уважает мою карболку. Лечит ведь не только лекарство, Кэтти. Лечит доверие.

Он помолчал, глядя на огонь свечи.

— Запомни это. Когда-нибудь пригодится.

— Мне? — Кэтрин усмехнулась. — Женщин не пускают в доктора, папа.

— Пока не пускают. — Он поднял на неё глаза, и в них мелькнуло что-то очень серьёзное. — В Лондоне есть школа, где учат женщин. Уже двенадцать лет. Их немного, и над ними смеются, и им трудно. Но они есть. Мир меняется, дочка. Медленно, со скрипом — но меняется.

Кэтрин замерла с ложкой в руке.

— Ты никогда мне не говорил.

— Не говорил, — согласился отец. — Боялся, что ты загоришься. А потом подумал: а чего я, собственно, боюсь? Что моя дочь будет делать то, что любит? — Он потёр левое плечо и снова поморщился. — Мы поговорим об этом. Не сегодня. Сегодня я слишком стар и слишком мокр для серьёзных разговоров.

— Что с плечом?

— Ерунда. Потянул, когда толкал двуколку. Говорю же — Бесси совсем…

Он не договорил.

* * *

Потом, много лет спустя, Кэтрин будет помнить каждую секунду этой ночи. Каждый звук, каждый запах, каждое движение. Она будет просыпаться от них в темноте и лежать с открытыми глазами до рассвета.

Сначала отец просто замолчал. Лицо его стало странно неподвижным, будто он прислушивался к чему-то внутри себя. Потом он медленно положил ладонь на грудь — левой рукой, неловко, будто рука вдруг стала чужой.

— Папа?

— Ничего, — сказал он очень тихо. — Ничего, Кэтти. Сейчас пройдёт.

Но не проходило. Кэтрин видела, как на лбу у него выступил пот — крупными каплями, хотя в столовой было прохладно. Как побелели губы. Как он вцепился пальцами в край стола.

Она вскочила так резко, что стул опрокинулся.

— Марта! — закричала она. — Марта, скорее!

Она уже знала. Она читала об этом — в его же книгах, с его же пометками на полях. Боль за грудиной, отдающая в левое плечо и руку. Холодный пот. Бледность. Страх смерти — «angor animi», писали латинские авторы. Грудная жаба. Сердце.

Сердце, которое она тысячу раз видела на рисунках в атласе. Четыре камеры, клапаны, сосуды. Она знала, как оно устроено. Она не знала, что делать, когда оно ломается.

— Папа, где нитрит? — Она уже стояла рядом с ним на коленях, расстёгивая ему воротник дрожащими пальцами. — Амилнитрит, ты давал его мистеру Хиггинсу, у тебя должны быть капсулы, где они?

— Саквояж… — выдохнул отец. — Боковой карман…

Саквояж стоял в прихожей, там, где отец бросил его, войдя. Кэтрин метнулась туда, рванула застёжку, вывалила содержимое на пол: бинты, флаконы, щипцы, стетоскоп, пузырьки с хлороформом и опием. Боковой карман. Пальцы не слушались. Где же, где…

Маленькая картонная коробочка. Стеклянные ампулы в шёлковой оплётке. Три штуки.

Она вернулась в столовую. Марта уже была там — стояла в дверях, прижав руки ко рту, и глаза у неё были круглые от ужаса.

— Марта, беги к Тому Пирсу! — Кэтрин не узнала собственного голоса — он был резкий и чужой. — Пусть седлает лошадь и скачет в Бейквелл за доктором Грином. Немедленно! Скажи — сердце. Скажи — доктор Мэйфилд. Беги!

Марта исчезла. Хлопнула входная дверь.

Отец сполз со стула на пол. Кэтрин подхватила его — он был тяжёлый, такой тяжёлый, — и уложила на ковёр, подсунув ему под голову и плечи диванную подушку. Полусидя. Так было в книге: полусидя, чтобы легче дышать.

Она раздавила ампулу в платке. Резкий, сладковатый запах ударил в нос — запах перезрелых груш.

— Дыши, папа. Дыши глубоко.

Он вдохнул. Лицо его на мгновение вспыхнуло румянцем — нитрит расширял сосуды, она знала, она читала. Кэтрин затаила дыхание. Сейчас. Сейчас боль отступит, как отступала у мистера Хиггинса, и отец откроет глаза и скажет: «Ну вот. Я же говорил — ерунда».

Он открыл глаза.

— Кэтти, — сказал он. — Девочка моя.

— Тебе лучше? Скажи, что лучше.

— Немного.

Он лгал. Она видела, что он лжёт, — первый раз в жизни видела, как он ей лжёт. Румянец сходил с его лица так же быстро, как появился, и губы становились не белыми уже, а серыми, с синевой. Дыхание было частым и поверхностным. Кэтрин нащупала пульс на его запястье — так, как он сам её учил, двумя пальцами, не большим, — и не смогла сосчитать. Пульс бился, как пойманная птица: быстро, неровно, с провалами.

Она раздавила вторую ампулу.

— Дыши.

Он вдохнул. Ничего не изменилось.

— Кэтти, — прошептал он. — Послушай меня.

— Не говори. Тебе нельзя говорить. Доктор Грин скоро приедет…

— Доктор Грин в Бейквелле. — Уголок его губ дрогнул — тень улыбки. — Девять миль по размытой дороге. Ты знаешь… сколько это займёт.

Она знала. Два часа — если Том Пирс найдёт доктора дома. Если не найдёт — больше.

— Тогда я сама, — сказала она. — Скажи мне, что делать. Ты же знаешь. Скажи мне, и я сделаю.

Отец смотрел на неё долгим, ясным взглядом. И в этом взгляде было то, чего Кэтрин не хотела видеть. Не боль, не страх. Знание. Он был врачом тридцать лет. Он видел, как умирают люди. Он знал, что с ним происходит, — знал лучше, чем любая книга.

— Ты всё делаешь правильно, — сказал он. — Всё правильно, дочка. Просто… есть вещи, которые мы пока не умеем лечить. Пока. Запомни это слово.

— Нет. — Она мотала головой, и слёзы, которых она не замечала, капали ему на рубашку. — Нет, нет, нет. Должно быть что-то. Кровопускание? Дигиталис? У тебя есть дигиталис, я видела…

— Не поможет. — Он с трудом поднял руку и коснулся её щеки. Пальцы были ледяные. — Не трать время. Посиди со мной.

Она не послушалась. Это было единственное, в чём она за всю жизнь его не послушалась.

Она бросилась к рассыпанному саквояжу, нашла дигиталис, но руки тряслись так, что она не могла отмерить капли, и она не знала дозы, — дозу она не помнила, она читала, но не помнила, господи, почему она не запомнила, — и в книге было написано, что ошибка в дозе смертельна, и она стояла посреди прихожей с флаконом в руке и не знала, что делать, и впервые в жизни понимала, что прочитать и уметь — это совсем, совсем разные вещи.

Когда она вернулась, отец лежал с закрытыми глазами.

— Папа!

Она упала рядом на колени. Он дышал — хрипло, с долгими паузами между вдохами. Она раздавила последнюю ампулу, поднесла к его лицу. Он не вдохнул.

Тогда она вспомнила о Сильвестре. Метод искусственного дыхания — отец показывал ей на картинке в «Руководстве по неотложной помощи»: лечь за головой пострадавшего, взять его руки за запястья, поднять их вверх и назад, за голову, — вдох; опустить и прижать к груди — выдох. Ритмично. Медленно. Шестнадцать раз в минуту.

Она сделала это. Она взяла его руки — тяжёлые, безвольные, руки, которые приняли сотни младенцев в этой долине, перевязали тысячи ран, которые гладили её по голове, когда ей снились кошмары, — и подняла их вверх. И опустила. И подняла. И опустила.

Раз. Два. Три. Сорок. Сто.

Она считала вслух, потому что если перестать считать, придётся думать.

Она не знала, сколько это длилось. Свечи на столе догорели и погасли, и столовую освещал теперь только отблеск камина из гостиной. Плечи у Кэтрин горели, руки онемели, по спине струился пот. Она не останавливалась.

В какой-то момент он открыл глаза.

Она замерла. Он смотрел на неё — уже не ясно, а как-то издалека, будто с другого берега реки. Губы его шевельнулись.

Она наклонилась к самому его лицу.

— Помогай им, — прошептал он. — Кэтти. Помогай… людям.

— Буду, — сказала она. — Обещаю. Папа, я обещаю.

Он улыбнулся. Это была его улыбка — та самая, мягкая, чуть усталая, которой он встречал её каждое утро за завтраком.

А потом его глаза перестали её видеть.

* * *

Доктор Грин приехал в половине одиннадцатого. Том Пирс нашёл его не дома, а на другом конце Бейквелла, у постели больного ребёнка, и доктор прискакал прямо оттуда — без шляпы, забрызганный грязью до колен.

Он нашёл Кэтрин сидящей на полу в тёмной столовой. Голова отца лежала у неё на коленях. Она гладила его седые волосы и тихо, монотонно считала:

— …триста двенадцать. Триста тринадцать. Триста четырнадцать…

Доктор Грин опустился рядом, приложил пальцы к шее покойного, потом стетоскоп к груди. Долго слушал. Потом убрал стетоскоп и осторожно, очень бережно, взял Кэтрин за плечи.

— Мисс Мэйфилд. Кэтрин. Он ушёл.

— Я знаю, — сказала она. — Я знаю. Я просто не могла остановиться.

— Что вы ему давали?

— Амилнитрит. Три ампулы. — Голос у неё был ровный и чужой. — Хотела дигиталис, но не знала дозы. Потом делала искусственное дыхание по Сильвестру. Около… я не знаю. Долго.

Доктор Грин помолчал.

— Вы сделали всё, что можно было сделать, — сказал он наконец. — Больше, чем сделали бы многие из моих коллег. Я говорю это не для утешения, мисс Мэйфилд. Это правда. Когда сердце рвётся так, как, по всей видимости, разорвалось у него… тут бессилен любой врач. Даже он сам.

— Если бы я знала больше…

— Не надо. — Доктор Грин сжал её плечо. — Не надо этого «если бы». Он не простил бы вам, если бы вы до конца жизни носили на себе его смерть. Вы ведь знаете, каким он был.

Да. Она знала.

* * *

Его положили в кабинете — на кушетку, где он принимал больных. Марта, всхлипывая, обмыла его и одела в лучший сюртук. Доктор Грин уехал за полночь, обещав утром прислать викария и гробовщика.

Кэтрин осталась с отцом одна.

Она села в его кресло у письменного стола. Здесь всё было так, как он оставил вчера утром: раскрытая тетрадь с записями о больных, перо в чернильнице, недопитая чашка чая, очки поверх стопки писем. На спинке стула висел его старый вязаный жилет — Марта сто раз грозилась отдать его бедным, а он не давал: «Это не жилет, Марта, это мой друг».

Кэтрин взяла жилет и прижала к лицу. Он пах отцом — табаком, карболкой, лавандовым мылом. Она плакала в этот жилет долго, беззвучно, раскачиваясь в кресле, как маленькая.

Потом слёзы кончились.

Она подняла голову и огляделась. Шкафы с книгами от пола до потолка. Анатомические таблицы на стенах. Скелет в углу, которого она в детстве боялась, а потом назвала Мистером Бонсом и наряжала в отцовскую шляпу. Стеклянная витрина с инструментами. Этажерка с аптечными склянками, на каждой — аккуратная этикетка его почерком.

Тридцать лет жизни. Тридцать лет он ездил по этой долине — в дождь, в снег, в метель, днём и ночью, к богатым и нищим. Он брал деньги с тех, кто мог платить, и не брал с тех, кто не мог. Он принимал роды, вправлял кости, зашивал раны, сидел у постелей умирающих. Половина Литтл-Холлоу появилась на свет в его руках.

И кто теперь будет к ним ездить?

Кэтрин встала и подошла к окну. Дождь кончился. Туман рассеялся, и над тёмными холмами высыпали звёзды — холодные, ясные, бесконечно далёкие. Где-то там, за холмами, лежала ферма Брэдли, где сегодня утром родился мальчик. Отцовский последний младенец.

«Есть вещи, которые мы пока не умеем лечить. Пока. Запомни это слово».

«В Лондоне есть школа, где учат женщин».

«Помогай людям».

Она стояла у окна и чувствовала, как внутри неё что-то меняется. Как будто земля под ногами сдвинулась и встала по-новому. Прежняя жизнь — тихая, тёплая, с вечерами у камина, с разговорами за ужином, с его голосом, отвечающим на все вопросы, — кончилась. Кончилась сегодня, в половине восьмого вечера, на потёртом ковре в столовой.

Начиналась другая. Она пока не знала какая. Знала только одно.

Сегодня ночью она держала в руках жизнь самого дорогого человека — и не сумела её удержать. Не потому, что не хотела. Не потому, что не старалась. Потому что не умела. Потому что прочитать — не значит уметь.

Больше этого не будет.

Она не позволит этому повториться — ни с кем. Ни с одним отцом, ни с одной дочерью, ни с одним ребёнком на дальней ферме. Она научится. Чего бы это ни стоило, сколько бы над ней ни смеялись, какие бы двери перед ней ни закрывали. Она научится — по-настоящему, руками, а не только глазами по страницам. Она станет тем, кем был он.

— Я обещала, папа, — сказала она тихо, глядя на звёзды. — Я помню.

За спиной у неё, на кушетке, лежал доктор Эдвард Мэйфилд, сельский врач из Литтл-Холлоу, графство Дербишир. Лицо его в свете лампы было спокойным и почти молодым. Казалось, он просто устал после долгого дня и прилёг отдохнуть.

Часы в гостиной пробили три.

Кэтрин вернулась к столу, придвинула к себе отцовскую тетрадь и открыла её на последней записи. Вчерашнее утро: «Ферма Брэдли. Первые роды. Выехал в 4.50». Почерк быстрый, летящий, как всегда.

Она обмакнула его перо в чернильницу и под этой строкой, аккуратно, своим почерком, дописала:

«Мальчик, восемь фунтов. Мать и дитя здоровы.

Доктор Э. Мэйфилд скончался 14 октября 1886 года в 7.30 пополудни. Грудная жаба.

Его дело будет продолжено».

Она поставила точку, положила перо и долго сидела неподвижно, глядя на огонёк лампы, пока за окном не начало светать.

Глава 2. Решение

Доктора Эдварда Мэйфилда хоронили в субботу, восемнадцатого октября, на маленьком кладбище за церковью Святого Михаила.

Кэтрин ожидала, что придут человек двадцать — соседи, викарий, доктор Грин. Пришла вся долина.

Они шли с утра — пешком, на телегах, верхом. Фермеры в воскресных сюртуках, которые были им тесны в плечах. Их жёны в чёрных шалях. Дети, которых доктор Мэйфилд принимал на свет, а теперь уже взрослые парни и девушки. Старый Хиггинс, которого отец трижды вытаскивал с того света, приковылял на двух палках. Пришёл даже Брэдли с фермы за шесть миль — с красными глазами, держа в руках шапку так крепко, что побелели костяшки пальцев.

Церковь не вместила всех. Люди стояли в дверях, на паперти, на кладбищенской дорожке, под мелким холодным дождём, и никто не уходил.

Кэтрин сидела в первом ряду, в чёрном платье, которое Марта за две ночи перешила из маминого траурного. Она не плакала. Слёзы кончились в ту ночь, в отцовском кабинете, и с тех пор внутри было пусто и тихо, как в доме, из которого вынесли мебель.

Викарий говорил о милосердии и долге. Говорил хорошо, но Кэтрин почти не слушала. Она смотрела на гроб — простой, дубовый, без украшений, как отец и хотел бы — и думала о том, что в этом ящике лежат руки, которые умели всё. А её собственные руки не сумели ничего.

После службы, когда гроб опустили в землю и первая горсть мокрой глины глухо стукнула о крышку, к Кэтрин стали подходить люди. Один за другим. Они пожимали ей руку, бормотали слова сочувствия — и почти каждый рассказывал историю.

— Он мою Дженни выходил, когда у неё круп был, — сказала молодая женщина с младенцем на руках. — Три ночи у нас просидел. Денег не взял.

— Он мне ногу спас, мисс. Другой доктор отрезать хотел, а ваш батюшка сказал — погодим.

— Он моей матери глаза закрыл. И со мной потом до утра сидел, чтобы я одна не была.

Кэтрин слушала, кивала, благодарила. Каждая история ложилась на сердце, как камень. И каждая — как кирпич в стену, которую она строила внутри себя с той ночи.

Последним подошёл Брэдли. Он долго мял шапку и молчал. Потом сказал хрипло:

— Мы мальчонку Эдвардом назвали. В его честь. Жена сказала — пусть хоть так останется.

И тогда Кэтрин всё-таки заплакала.

* * *

Тётушка Гортензия приехала из Лондона в тот же вечер, когда уже стемнело. Телеграмма застала её в гостях, поезд опоздал, дорогу от станции развезло — обо всём этом она сообщила, ещё не успев снять дорожный плащ.

— Бедная моя девочка! — Миссис Белл обняла Кэтрин так крепко, что зашуршал её шёлк. От неё пахло фиалковыми духами и паровозной гарью. — Я не успела. Господи, я даже на похороны не успела. Ты простишь меня? Скажи, что простишь.

— Конечно, тётя.

Миссис Гортензия Белл была младшей сестрой покойной матери Кэтрин, но на неё совсем не походила. Мама, судя по портрету в гостиной, была тихой, светловолосой, с задумчивыми глазами. Тётушка — маленькая, круглая, подвижная, с тёмными кудряшками, уложенными по последней моде, и быстрым взглядом, который за минуту успевал оценить и обои, и мебель, и платье собеседника. Она говорила много, громко и всегда немного торопливо, словно боялась, что её перебьют.

Кэтрин любила её — той спокойной, чуть снисходительной любовью, какой любят шумных родственников. Отец тётушку тоже любил, хотя называл её «наша маленькая буря».

— Ты похудела, — объявила миссис Белл, отстранив Кэтрин и разглядывая её. — Бледная как смерть. Марта, вы её совсем не кормите?

— Кормлю, мэм, — с достоинством ответила Марта. — Она не ест.

— Будет есть. Я прослежу.

* * *

Завещание огласили в понедельник, в отцовском кабинете. Мистер Кроули, поверенный из Бейквелла, сухой человек с бакенбардами, читал медленно, с паузами, водя пальцем по строчкам.

Новостей оказалось немного, и почти все — плохие.

Дом не принадлежал доктору Мэйфилду. Его, вместе с практикой, тридцать лет назад сдал молодому врачу сквайр Холлингс, и теперь, с кончиной арендатора, дом возвращался к наследникам сквайра. Новый доктор — молодой человек из Шеффилда — должен был приехать к Рождеству.

— К Рождеству, — повторила Гортензия. — Значит, у девочки шесть недель, чтобы собрать вещи и покинуть дом, где она родилась?

— Наследники сквайра проявили великодушие, мэм, — сухо сказал мистер Кроули. — Они могли потребовать освободить дом в течение месяца.

Деньги. Доктор Мэйфилд не был богат — слишком часто он не брал платы. Но он был бережлив, и за тридцать лет на его счету в банке Бейквелла скопилось две тысячи четыреста фунтов. К этому прибавлялась страховка и небольшая сумма от продажи инструментов и лошади. Всё вместе, по подсчётам мистера Кроули, составляло около трёх тысяч фунтов.

— Всё это, — прочитал поверенный, — я оставляю моей возлюбленной дочери Кэтрин Энн Мэйфилд, с тем чтобы она распорядилась этим по собственному разумению. Мои книги, бумаги и записи также оставляю ей, в надежде, что она найдёт им лучшее применение, чем пыльная полка.

Кэтрин почувствовала, как сжалось горло. «В надежде, что она найдёт им лучшее применение». Он знал. Он думал об этом, когда писал.

— Три тысячи, — задумчиво произнесла миссис Белл, когда за мистером Кроули закрылась дверь. — Немного. Но и не нищета. Если вложить в консоли, это даст фунтов девяносто годовых. Жить на это одной нельзя — но как приданое… — Она оживилась. — Как приданое

это вполне прилично, Кэтрин. Вполне. Не графиня, конечно. Но для приличного человека — вполне.

— Тётя, сейчас не время…

— Сейчас самое время, дорогая. — Миссис Белл взяла её за руки, и голос её вдруг стал совсем другим — тихим и серьёзным. — Послушай меня. Ты знаешь, как я любила твоего отца. Но он ушёл, а ты осталась. Одна. Без дома. С тремя тысячами, которых хватит лет на пять, если тратить с умом. А что потом? Гувернанткой к чужим детям? Компаньонкой к злой старухе? Я видела, что бывает с такими девушками, Кэтрин. Я видела.

Она замолчала, и Кэтрин заметила, что в глазах у тёти Гортензии блестят слёзы.

— Ты поедешь со мной в Лондон, — сказала миссис Белл. — Отбудешь траур — полгода, как положено, — а весной мы попробуем снова.

— Снова? — Кэтрин невесело усмехнулась. — Тётя, ты помнишь, чем кончился прошлый сезон?

Миссис Белл помнила. Кэтрин тоже.

* * *

Прошлой весной тётушка уговорила отца отпустить Кэтрин в Лондон на сезон. Отец согласился неохотно — «пусть посмотрит мир, Кэтти, а то вырастешь дикаркой среди овец», — и Кэтрин провела три месяца в тётушкином доме в Кенсингтоне.

Это были худшие три месяца в её жизни.

Она не умела вести светскую беседу — то есть говорить много и ни о чём. Она не умела смеяться шуткам, которые не казались ей смешными. Не умела делать вид, что ничего не знает. На первом же званом обеде, когда пожилой баронет заметил, что женский мозг на целых пять унций легче мужского и потому не способен к наукам, Кэтрин вежливо осведомилась, не следует ли из этого, что слон умнее баронета, поскольку мозг слона весит одиннадцать фунтов.

За столом наступила тишина. Гортензия уронила вилку.

После этого приглашений стало заметно меньше. Молодые люди, которые поначалу записывались к ней в бальную книжечку, теперь предпочитали барышень, умевших восторженно ахать. Один джентльмен, впрочем, проявил настойчивость — но, узнав, что приданое мисс Мэйфилд составит меньше пяти тысяч, быстро переключился на дочь пивовара.

Кэтрин вернулась домой в июле, загорелая от лондонских прогулок, без жениха и без сожалений. Отец встретил её на станции, посмотрел ей в лицо и рассмеялся:

— Ну что, дикарка? Покорила столицу?

— Столица покорилась слону, — ответила она, и они хохотали всю дорогу до дома.

* * *

— Прошлый сезон был ошибкой, — твёрдо сказала Гортензия. — Ты была не готова. Я тебя не подготовила. Это моя вина. Но в этот раз всё будет иначе. В следующем году юбилей королевы — пятьдесят лет на троне! Весь Лондон будет праздновать. Балы, приёмы, гости со всего света. Такого сезона не было целое поколение. Это шанс, Кэтрин. Может быть, последний.

Кэтрин смотрела на неё и думала: тётя не виновата. Она искренне хочет добра. Она одна на всём свете, кроме Марты, кому есть до меня дело.

— Хорошо, тётя, — сказала она. — Я поеду в Лондон.

Миссис Белл просияла и расцеловала её в обе щёки.

Кэтрин не сказала главного. Не сказала, что поедет в Лондон совсем за другим.

* * *

Той ночью, когда дом затих — тётушка спала в маминой бывшей комнате, Марта в своей каморке за кухней, — Кэтрин спустилась в кабинет отца.

Она зажгла лампу и долго стояла посреди комнаты, глядя на книжные шкафы. Через шесть недель всё это придётся упаковать. Книги — в ящики. Скелет Мистер Бонс — продать доктору Грину. Отцовские записи — в сундук. Кабинет станет чужим.

Она подошла к столу и выдвинула нижний ящик. Здесь отец хранил письма. Она искала одно — и нашла его почти сразу, будто отец положил его сверху нарочно.

Конверт с лондонским штемпелем. Дата — март этого года. Внутри — проспект. «Лондонская школа медицины для женщин. Хантер-стрит, 30, Брансуик-сквер. Курс обучения. Условия приёма. Плата за обучение».

На полях — пометки отцовским карандашом. «Вступительный экзамен — латынь, математика, естественные науки. Кэтти справится». «Плата — около 80 ф. в год, пять лет. Много. Но можно». И в самом низу, подчёркнуто дважды: «Поговорить с ней. Не откладывать».

Он отложил. Он ждал подходящего случая. А потом в столовой, за остывшим ужином, сказал: «Мы поговорим об этом. Не сегодня».

Кэтрин опустилась в его кресло и положила проспект на стол перед собой. Восемьдесят фунтов в год. Пять лет. Четыреста фунтов — только за учение. Плюс жильё, книги, инструменты. Три тысячи хватит. С трудом, но хватит. Если не тратить их на бальные платья.

Она достала из ящика лист бумаги, обмакнула отцовское перо в чернильницу и начала писать.

«Уважаемые господа!

Я, Кэтрин Энн Мэйфилд, дочь покойного доктора Эдварда Мэйфилда из Литтл-Холлоу, графство Дербишир, имею честь просить о сведениях относительно поступления в Вашу школу на ближайший возможный срок…»

Рука дрожала. Она остановилась, перечитала первые строки и вдруг испугалась. Что она делает? Девушка из провинции, без связей, без образования, кроме отцовских уроков. Дама из хорошей семьи не может быть врачом — так скажет каждый в лондонской гостиной. Тётушка будет в ужасе. Над ней будут смеяться. Ни один порядочный человек на ней не женится.

Она посмотрела на последнюю строчку отцовских пометок. «Поговорить с ней. Не откладывать».

— Я не буду откладывать, папа, — сказала она вслух. — Ты не успел. Я успею.

Она дописала письмо — ровным, твёрдым почерком, без единой помарки. Рассказала об отце. О том, что с двенадцати лет изучала под его руководством анатомию, физиологию и материю медику. О том, что владеет латынью и немного греческим. О том, что весной будет в Лондоне и просит назначить ей время для собеседования.

Об ужине, ампулах и ночи на ковре в столовой она не написала. Это было только её.

Она запечатала письмо, надписала адрес и спрятала его за корсаж. Завтра утром она сама отнесёт его на почту в деревню. Марте скажет, что идёт за нитками. Тётушке — ничего.

Потом она погасила лампу и долго сидела в темноте отцовского кабинета, слушая, как стучит по стеклу дождь.

Впервые с той ночи ей не было страшно.

У неё была тайна. И у неё была цель.

Где-то в Лондоне, на улице с непривычным названием Хантер-стрит, стоял дом, в котором женщин учили спасать жизни. Весной она увидит его своими глазами.

А тётушка пусть пока выбирает бальные платья.

Глава 3. Лондон

Лондон встретил Кэтрин весной, грохотом и запахом угольного дыма.

Поезд из Дербишира прибыл на вокзал Сент-Панкрас в половине третьего пополудни, двенадцатого апреля 1887 года. Кэтрин вышла на перрон, подняла голову — и замерла. Над ней, на головокружительной высоте, изгибались чугунные арки, а между ними сквозь закоп-

чённое стекло лился бледный апрельский свет. Под этой гигантской крышей, как муравьи, сновали люди: носильщики с тележками, дамы в шляпках с перьями, клерки в котелках, мальчишки-газетчики, выкрикивавшие что-то про юбилей и про ирландский вопрос.

Год назад она тоже стояла здесь. Но год назад она была другой. Год назад её на перроне провожал отец.

— Кэтрин! Не стой столбом, дорогая, тебя затопчут!

Тётушка Гортензия уже распоряжалась носильщиком — маленькая, решительная, в новом лиловом пальто, которое совершенно не годилось для полутраура, но которое она, по её словам, «просто не смогла не купить».

Полгода глубокого траура закончились в марте. Теперь Кэтрин полагалось носить серое и лиловое, а к лету, если тётушка настоит, — даже белое с чёрной отделкой. Чёрное мамино платье осталось в сундуке. Кэтрин не смогла его выбросить.

* * *

Зима прошла как в тумане.

Шесть недель до Рождества она паковала отцовские книги. Каждую брала в руки, листала, находила его пометки — и иногда сидела над одной страницей по полчаса. Доктор Грин купил Мистера Бонса и почти все инструменты, а саквояж Кэтрин оставила себе. Старый, потёртый, пахнущий карболкой. Он ехал сейчас в багажном вагоне, завёрнутый в шаль, на самом дне сундука.

Прощание с Мартой было хуже похорон. Старая служанка не поехала в Лондон — у неё была сестра в Бакстоне, и сестра звала её к себе доживать век. Они стояли на крыльце опустевшего дома, где уже пахло чужим, и Марта, никогда в жизни никого не обнимавшая, вдруг прижала Кэтрин к своей широкой груди и сказала сердито:

— Вы там ешьте. Слышите? А то знаю я вас. Будете над книжками сидеть, а про обед забудете. Он тоже вечно забывал.

— Буду есть, Марта. Обещаю.

— И пишите. Хоть раз в месяц. Я читать не мастерица, но сестра прочтёт.

— Буду писать.

— И не давайте себя в обиду, — добавила Марта, отстраняясь и сморкаясь в передник. — Вы его дочь. Помните это.

Потом была зима в маленьком тётушкином доме в Кенсингтоне: серые дни, бесконечное вышивание, визиты соболезнования, на которых пожилые дамы говорили шёпотом и пили чай с таким видом, будто Кэтрин может разбиться от громкого звука.

И было письмо.

Оно пришло в конце января, на имя мисс К. Мэйфилд, и Кэтрин успела перехватить его у горничной прежде, чем тётушка спустилась к завтраку. Она прочитала его в своей комнате, заперев дверь на ключ, трижды подряд.

Лондонская школа медицины для женщин благодарила мисс Мэйфилд за интерес. Школа сожалела о кончине её отца. Школа сообщала, что для поступления на курс, начинающийся в октябре, мисс Мэйфилд необходимо сдать вступительный экзамен Лондонского университета — латынь, математику, английский язык, естественные науки, — и приглашала её на собеседование к секретарю школы в любой удобный ей день после пятнадцатого апреля.

После пятнадцатого апреля.

Кэтрин спрятала письмо между страниц отцовской «Физиологии» и с тех пор каждую ночь, когда дом засыпал, занималась при свече: латынь, алгебра, геометрия. Она решала задачи на полях старых газет, а утром сжигала их в камине.

Тётушка ничего не замечала. Гортензия была слишком занята.

* * *

— Тётя, — сказала Кэтрин, когда кэб вывернул с Юстон-роуд и покатил на юг, — почему мы едем не домой?

Это был вопрос, который мучил её уже месяц. В начале марта миссис Белл объявила, что на сезон они переезжают в гостиницу. А дом в Кенсингтоне сдают.

— Я же тебе объясняла, дорогая. — Гортензия смотрела в окно и почему-то не поворачивалась. — Одна американская семья — очень богатые люди, у них железные дороги где-то в Огайо, — хотела снять дом на сезон. Они предложили столько, что было бы безумием отказаться. А мы будем жить в самом сердце Лондона! В Кенсингтоне мы на отшибе, Кэтрин. Туда никто не заезжает. А в хорошей гостинице бывает всё общество. Ты встретишь там больше подходящих молодых людей за неделю, чем в Кенсингтоне за год.

Всё это звучало разумно. Но Кэтрин заметила, как тётушкины пальцы в лиловой перчатке нервно теребят ручку ридикюля. И как уже второй месяц из гостиной куда-то исчезают вещи: сначала серебряный чайный сервиз, «отдала почистить», потом маленький пейзаж над камином, «отдала в раму». Ни сервиз, ни пейзаж так и не вернулись.

Кэтрин ничего не сказала. Но запомнила.

* * *

Гостиница называлась «Голдсмит» и стояла на углу Пикадилли и тихой улочки, ведущей к Грин-парку.

Кэтрин ожидала чего-то большого. Она не ожидала дворца.

Шесть этажей светлого портлендского камня. Высокие окна с полукруглым верхом. Над входом — козырёк из чугунного кружева и стекла, под которым одна за другой останавливались кареты. Швейцар в тёмно-зелёной ливрее с золотыми пуговицами распахнул перед ними дверь с таким поклоном, будто они были, по меньшей мере, герцогинями.

Холл был огромный, двухсветный, с мраморными колоннами и галереей по второму этажу. Пол — чёрно-белая шахматная плитка, начищенная до зеркального блеска. Посредине — фонтан, а в нём, честное слово, плавали живые золотые рыбки. Пахло лилиями, воском и чем-то сладким, кондитерским, из ресторана за стеклянными дверями. В углу на рояле кто-то негромко играл вальс.

И — электрический свет. Не газ, не свечи, а настоящие электрические лампы под матовыми колпаками, ровно горевшие без копоти и запаха. Кэтрин читала о них в журналах. Видела впервые.

— Ну? — Гортензия торжествующе сжала её локоть. — Что скажешь?

— Скажу, что здесь, наверное, очень дорого, — тихо ответила Кэтрин.

— Это не твоя забота, дорогая.

Портье за стойкой красного дерева — высокий, худой, с лицом английского епископа — нашёл их фамилию в огромной книге и почтительно наклонил голову.

— Миссис Белл и мисс Мэйфилд. Номер на третьем этаже, окнами в парк. Мистер Уэбб, управляющий, просил передать, что, если вам что-нибудь понадобится, вы можете обратиться лично к нему. — Он протянул ключ на тяжёлой бронзовой груше. — И ещё одно. Ваша компаньонка, мисс Прайс, прибыла час назад. Она ожидает вас в номере.

— Компаньонка? — Кэтрин обернулась к тётушке.

— Ах да, я тебе не сказала. — Миссис Белл махнула рукой. — Сюрприз. Я не могу сопровождать тебя повсюду, дорогая, у меня свои визиты. А молодой девушке нельзя выходить одной. Мне её очень рекомендовала леди Пембертон. Дочь сельского священника, прекрасно воспитана, говорит по-французски. Тебе понравится.

Кэтрин в этом сильно сомневалась. Она представила себе старую деву с поджатыми губами и вязаньем, которая будет следовать за ней по пятам и докладывать тётушке о каждом её шаге.

Как теперь добраться до Хантер-стрит?

* * *

Мисс Элинор Прайс оказалась совсем не старой девой.

Ей было двадцать шесть — всего на пять лет больше, чем Кэтрин. Она стояла у окна их гостиной — высокая, тонкая, в простом сером платье без единого украшения — и, когда они вошли, обернулась. У неё было узкое бледное лицо, гладко зачёсанные каштановые волосы и большие светло-карие глаза, в которых пряталось что-то такое, от чего Кэтрин сразу насторожилась. Смешинка? Или ум?

— Миссис Белл. Мисс Мэйфилд. — Элинор присела в безупречном реверансе. — Надеюсь, дорога не слишком вас утомила.

— Ужасно утомила, — объявила миссис Белл, падая в кресло. — Этот поезд трясёт так, что все кости вытряхивает. Мисс Прайс, будьте ангелом, позвоните, чтобы подали чай. И пусть принесут сэндвичи. И пирожные. Я умираю с голоду.

Пока тётушка распаковывалась в своей спальне, громко командуя горничной, Кэтрин и Элинор остались в гостиной вдвоём. Повисла неловкая пауза.

— Вы, наверное, думаете, что я буду за вами шпионить, — вдруг сказала Элинор, глядя в окно на зелёные кроны Грин-парка.

Кэтрин вздрогнула.

— Я ничего такого…

— Думаете. У вас это на лице написано. — Элинор повернулась, и в уголках её губ мелькнула улыбка. — Не беспокойтесь. Миссис Белл платит мне за то, чтобы вас сопровождать. А не за то, чтобы пересказывать ей, о чём вы думаете. Это разные вещи.

— Вы всегда так прямо говорите?

— Нет. Только когда хочу понять, с кем имею дело. Мой отец говорил: если хочешь узнать человека, скажи ему правду и посмотри, что он сделает.

Кэтрин почувствовала, как что-то внутри неё отпускает.

— Мой отец говорил похожее, — сказала она. — Он был врачом.

— Я знаю. Леди Пембертон рассказала. — Элинор помолчала. — Мне очень жаль.

— А ваш?

— Мой отец — викарий в маленьком приходе в Сомерсете. У него семеро детей и сорок фунтов в год. — Элинор пожала плечами. — Я старшая. Когда тебе двадцать шесть и у тебя нет приданого, выбор невелик. Можно учить чужих детей, можно ходить за чужими старухами, а можно — за чужими юными леди. Последнее, говорят, веселее всего.

— И как? Весело?

— Пока не знаю, — честно сказала Элинор. — Спросите меня через месяц.

Они посмотрели друг на друга — и обе вдруг рассмеялись.

* * *

После чая Гортензия отправилась вздремнуть, а Кэтрин, сославшись на головную боль, ушла к себе.

Её комната была маленькой, но прелестной: кровать под кремовым пологом, туалетный столик с овальным зеркалом, письменный стол у окна. Из окна был виден парк — молодая листва, дорожки, по которым гуляли няни с колясками, — а за ним, вдалеке, крыши Букингемского дворца.

Кэтрин открыла сундук и достала со дна отцовский саквояж. Поставила его на стол. Потом вынула из «Физиологии» сложенное письмо из школы и перечитала его в сотый раз.

«В любой удобный ей день после пятнадцатого апреля».

Сегодня двенадцатое. Через три дня.

Она достала из ридикюля карту Лондона, купленную на вокзале, и развернула её на столе. Нашла Пикадилли. Нашла Грин-парк. Потом повела пальцем на северо-восток — через

Сохо, через Оксфорд-стрит, мимо Британского музея — в Блумсбери. Брансуик-сквер. Хантер-стрит.

Две мили. Сорок минут пешком. Двадцать — в кэбе.

Как уйти из гостиницы так, чтобы тётушка не узнала? С компаньонкой. А компаньонка…

В дверь постучали.

Кэтрин торопливо сложила карту и сунула письмо под саквояж.

— Войдите.

Вошла Элинор с перекинутой через руку шалью.

— Миссис Белл просила передать, что ужинать вы будете в ресторане, в восемь. И просила, чтобы вы надели серое шёлковое, а не шерстяное. — Она положила шаль на кровать. Взгляд её скользнул по столу — по саквояжу, по краешку конверта, торчащему из-под него, и задержался на штемпеле. — Это я принесла вам на случай, если в ресторане будет прохладно.

— Спасибо.

Элинор уже повернулась к двери, но на пороге остановилась.

— Мисс Мэйфилд.

— Да?

— Я, кажется, забыла сказать. Я очень люблю долгие прогулки. Особенно по утрам. Говорят, в Блумсбери прекрасные скверы. — Она чуть помолчала. — И, если вы спросите меня, куда мы ходили, я скажу, что мы любовались платанами.

Дверь за ней закрылась.

Кэтрин долго смотрела на эту дверь. Потом перевела взгляд на конверт — на лондонский штемпель и обратный адрес, напечатанный в углу мелким шрифтом: «Лондонская школа медицины для женщин, Хантер-стрит, 30».

Элинор видела. Конечно, видела.

И, кажется, только что предложила ей стать союзницей.

* * *

Вечером, когда они спускались к ужину по широкой мраморной лестнице, Кэтрин увидела в конце галереи второго этажа высокие двустворчатые двери из резного дуба. Одна створка была приоткрыта, и в щель виднелись бесконечные полки с книгами, уходящие под самый потолок, бронзовая лестница на колёсиках и мягкий зелёный свет лампы на столе.

Она остановилась так резко, что тётя Гортензия, шедшая следом, едва не налетела на неё.

— Что там?

— Библиотека гостиницы, мисс, — почтительно ответил проходивший мимо лакей. — Для постояльцев. Говорят, лучшая частная библиотека в Вест-Энде. Хозяин сам её собирает.

— Хозяин? — переспросила Кэтрин.

— Мистер Голдсмит, мисс. — Лакей понизил голос, и в нём прозвучало что-то среднее между уважением и опаской. — Только он не любит, когда его книги трогают без спросу. Особенно редкие. Говорят, одну даму он попросил съехать из гостиницы за то, что она загнула уголок страницы.

— Какой ужас, — сказала Гортензия. — Пойдём, Кэтрин, мы опоздаем.

Кэтрин пошла. Но, спускаясь по лестнице, она оглянулась ещё раз — на полоску зелёного света за приоткрытой дубовой дверью.

Там, наверху, был целый мир книг. И где-то среди них, может быть, нашлось бы то, что ей нужно, чтобы через три дня войти в двери на Хантер-стрит и не опозориться.

А хозяин, который выгоняет постояльцев за загнутые уголки…

Что ж. Значит, уголки загибать не будем.

* * *

Зимний сад Кэтрин обнаружила на третий день.

Он прятался в глубине гостиницы, за ресторанным залом: огромная застеклённая галерея под ажурной чугунной крышей, сквозь которую лилось солнце. Здесь было тепло и влажно, как в оранжерее. Пальмы в кадках поднимали к стеклу растрёпанные веера листьев. Папоротники свешивались с подвесных корзин. Между ними вились дорожки, посыпанные мелким белым гравием, стояли плетёные кресла и мраморные скамьи, а в центре журчал фонтан с бронзовой нимфой, из кувшина которой лилась вода.

Днём здесь пили чай и сплетничали дамы. Но по утрам, до десяти, зимний сад был почти пуст.

Кэтрин приходила сюда читать. Тётушка спала, Элинор писала письма домой, устроившись на скамье у входа — достаточно близко, чтобы соблюсти приличия, и достаточно далеко, чтобы не мешать. А Кэтрин бродила по дорожкам с отцовской «Физиологией» в руках и повторяла вполголоса латинские названия костей запястья.

В то утро она дошла до главы о кровообращении. Об этой главе отец исписал все поля: стрелки, вопросительные знаки, «Не так! См. Гарвея». Кэтрин шла, не отрывая глаз от страницы, разбирая его мелкий почерк, и обогнула большую пальму, не глядя вперёд…

И врезалась в чью-то грудь.

Удар был не сильный, но неожиданный. Книга вылетела у неё из рук, перевернулась в воздухе и полетела прямо в чашу фонтана.

Чья-то рука перехватила её в дюйме от воды.

— Осторожнее, — произнёс низкий голос над её головой. — Карпентер плохо плавает. Я проверял.

Кэтрин подняла глаза.

Перед ней стоял мужчина. Высокий — ей пришлось запрокинуть голову, чтобы увидеть его лицо. Лет тридцати пяти. Тёмные волосы, чуть тронутые сединой на висках, коротко подстриженные. Резкий профиль, твёрдый подбородок, тёмные, почти чёрные глаза под прямыми бровями. В уголке губ пряталась едва заметная складка — то ли усмешка, то ли привычка к усмешке. Безупречный тёмно-серый сюртук, белоснежная рубашка, на мизинце левой руки — тяжёлый золотой перстень с тёмным камнем.

Он держал её книгу и смотрел на обложку.

— Прошу прощения, — сказала Кэтрин, чувствуя, как к щекам приливает кровь. — Я не смотрела, куда иду.

— Я заметил. — Он не спешил отдавать книгу. Перевернул её, открыл наугад, и брови его чуть приподнялись. — «Принципы физиологии человека». Карпентер. Издание семьдесят шестого года. — Он поднял на неё взгляд, и в тёмных глазах мелькнул неподдельный интерес. — Вы это читаете? Для развлечения?

— Нет, сэр. Для образования. Для развлечения я читаю Диккенса.

Складка в уголке его губ стала глубже.

— И что же Карпентер говорит об устройстве женского ума? Мне всегда было любопытно.

— Ничего, сэр. Карпентер о нём молчит. — Кэтрин протянула руку за книгой. — В отличие от большинства джентльменов, которые о нём говорят, ничего в нём не понимая.

Он рассмеялся — коротко, удивлённо, будто сам от себя этого не ожидал. Но книгу не отдал. Вместо этого перелистнул ещё несколько страниц и остановился на той, что была испещрена карандашом.

— А это чьи пометки? «Не так! См. Гарвея». Ваши?

— Моего отца. Он был врачом.

— Был, — повторил незнакомец, и голос его на мгновение стал тише. Взгляд скользнул по серой траурной ленте на её рукаве. — Простите.

— Не за что прощать, сэр. Вы не виноваты.

Он помолчал, глядя на страницу.

— И с чем же ваш отец был не согласен? Я, признаться, не силён в кровообращении. Знаю только, что сердце качает кровь, а когда перестаёт — человек умирает.

— Карпентер утверждает, что главная причина движения крови по венам — работа сердца, — сказала Кэтрин, сама не понимая, зачем объясняет это незнакомому мужчине посреди зимнего сада. — А отец считал, что этого мало. Что важны ещё мышцы — когда человек ходит, мышцы ног сжимают вены и толкают кровь вверх, а клапаны не дают ей вернуться. Поэтому у тех, кто весь день стоит — у прачек, у лакеев, — так часто болят ноги. Он это видел сам, на сотнях больных. А Карпентер видел только в книгах.

Она замолчала. Незнакомец смотрел на неё так, как, наверное, смотрят на редкую птицу, внезапно севшую на подоконник.

— А зачем, позвольте спросить, юной леди знать, отчего болят ноги у лакеев?

— А зачем джентльмену знать, как устроен его желудок? — парировала Кэтрин. — Разве не достаточно, чтобы это знал его повар?

На этот раз он не засмеялся. Он улыбнулся — медленно, и улыбка совершенно изменила его лицо: оно вдруг стало моложе, теплее и гораздо опаснее.

— Туше, — сказал он и наконец протянул ей книгу. — Мы с вами, кажется, не представлены.

— Не представлены, сэр. — Кэтрин взяла книгу и прижала её к груди. — И моя тётя очень не одобрила бы, если бы мы представились сами. В зимнем саду. Возле нимфы.

— Нимфа никому не скажет. Я ручаюсь за её молчание.

— А я — нет.

Она присела в коротком реверансе, повернулась и пошла прочь по белой гравийной дорожке — к выходу, где на скамье, не поднимая глаз от письма, сидела Элинор. Кэтрин не оглянулась. Ни разу. Хотя очень хотелось.

И всю дорогу до номера чувствовала между лопатками его взгляд.

* * *

Натан Голдсмит стоял у фонтана, пока серое платье не скрылось за пальмами.

Потом сел на мраморный край чаши, рядом с бронзовой нимфой, и долго смотрел на то место, где только что стояла девушка.

Тридцать пять лет. Шестнадцать из них он владел гостиницей, которую отец оставил ему в долгах, а он превратил в лучший отель Пикадилли. Через его холл проходили герцогини и актрисы, наследницы американских миллионов и вдовы индийских набобов. Женщины улыбались ему, роняли веера у его ног, присылали записки, надушенные розой и пачулями. Он знал их всех наизусть. Знал, какой взгляд означает «да», какой — «может быть», а какой — «сколько у вас годовых». Он давно перестал удивляться. Это было единственное, что его по-настоящему угнетало.

А сегодня утром девушка в сером траурном платье врезалась в него за пальмой, едва не утопила Карпентера в фонтане и за три минуты разговора дважды поставила его на место.

Она не кокетничала. Не опускала глаз. Не роняла ничего, кроме книги, — и ту нечаянно. Она объясняла ему, как работают венозные клапаны, так увлечённо, что забыла смутиться. А потом смутилась — когда он слишком долго на неё смотрел, — и румянец залил её щёки до самых ушей.

И что-то случилось с ним в эту минуту. Что-то, чего не случалось очень давно. А может быть, и никогда.

Он хотел, чтобы она вернулась. Хотел спорить с ней. Хотел узнать, о чём ещё она думает, что ещё читает, что прячется за этими серыми глазами — внимательными, умными, печальными. Хотел снова увидеть, как она краснеет.

Хотел — и это было самое странное — её. Не так, как хотят красивую женщину на балу. Иначе. Сильнее. Её всю: с её острым языком, её отцовской книгой, её траурной лентой и упрямо поднятым подбородком.

Натан встал и пошёл в холл. Мистер Уэбб, управляющий, — седой, сухой, невозмутимый, как дворецкий в доме герцога, — просматривал за конторкой утреннюю почту.

— Уэбб. Девушка в сером. Траур, тёмные волосы, Карпентер под мышкой. Третий день в гостинице.

Уэбб не задал ни одного вопроса. За шестнадцать лет он научился их не задавать.

— Мисс Кэтрин Мэйфилд, сэр. Прибыла двенадцатого с тётушкой, миссис Гортензией Белл, и компаньонкой. Номер триста шесть, окнами в парк. Забронирован до конца июля. — Уэбб помедлил. — Миссис Белл просила отсрочить оплату счёта до окончания сезона, сэр. Я взял на себя смелость согласиться.

— Пусть так и будет. — Натан побарабанил пальцами по конторке. — Мэйфилд, — повторил он, пробуя имя на вкус. — Кэтрин.

— Что-нибудь ещё, сэр?

— Нет. — Натан повернулся к лестнице, и Уэбб, к своему изумлению, увидел на лице хозяина то, чего не видел уже много лет. Улыбку. — Хотя… да. Если мисс Мэйфилд когда-нибудь заглянет в библиотеку, не мешайте ей.

— Даже если она загнёт уголок страницы, сэр?

— Даже если она вырвет страницу целиком, — сказал Натан Голдсмит и пошёл наверх, насвистывая.

Уэбб проводил его долгим взглядом. Потом снова уткнулся в почту. Но перо в его руке ещё долго не двигалось.

Глава 4. Хантер-стрит

Утро шестнадцатого апреля выдалось ясным — таким ясным, каким Лондон бывает, может быть, раз десять за весну.

Кэтрин проснулась в шесть, хотя легла за полночь. Она долго лежала, глядя в потолок, где по лепным розеткам скользили первые солнечные блики, и слушала, как бьётся сердце. Быстро. Слишком быстро. Как перед экзаменом. Как в ту ночь.

Сегодня.

Она встала, умылась ледяной водой из кувшина и оделась сама, не вызывая горничной. Серое шерстяное платье — самое строгое, что у неё было. Серая шляпка без перьев. Перчатки. Отцовские часы на цепочке — она приколола их к корсажу, под жакет, где их никто не увидит. Ей нужно было, чтобы он был рядом.

Письмо из школы она положила в ридикюль. Потом вынула, перечитала и положила снова.

В половине восьмого в дверь тихо постучали.

— Мисс Мэйфилд? — Элинор заглянула в комнату. Она уже была одета для улицы: тёмный плащ, простая соломенная шляпка, зонтик под мышкой. — Миссис Белл спит. Я сказала горничной, что мы идём на утреннюю прогулку и вернёмся к завтраку. То есть к одиннадцати. Миссис Белл раньше одиннадцати не завтракает.

— Откуда вы знаете?

— Я живу здесь уже четыре дня, — пожала плечами Элинор. — Я наблюдательна. Это профессиональное.

* * *

Они вышли через боковой подъезд, мимо сонного швейцара, и свернули на Пикадилли.

Город просыпался. Дворники мели мостовую. Молочник гремел бидонами. Торговка цветами раскладывала на углу корзины с нарциссами и фиалками, и запах их смешивался с запа-

хом конского навоза и свежего хлеба из пекарни. Омнибус, запряжённый парой гнедых, прогрохотал мимо, и на его империале какой-то клерк в котелке читал газету, держа её обеими руками, чтобы не унесло ветром.

— Возьмём кэб? — спросила Элинор.

— Нет. — Кэтрин покачала головой. — Пешком. Мне нужно… мне нужно подумать по дороге.

Элинор кивнула и больше ни о чём не спрашивала.

Они шли через Сохо — узкие улочки, французские кафе, где официанты в длинных фартуках выносили на тротуар столики, итальянская бакалея с гирляндами колбас в витрине, запах кофе и чеснока. Потом через Оксфорд-стрит, уже шумную, с толпами и экипажами. Потом мимо Британского музея — огромного, серого, с колоннадой, похожей на греческий храм.

Кэтрин почти ничего этого не видела. В голове у неё, как заученный урок, крутилось одно и то же.

«Доброе утро. Меня зовут Кэтрин Мэйфилд. Я получила ваше письмо. Я хотела бы узнать подробнее об условиях поступления…»

Простые слова. Она повторяла их уже неделю. Перед зеркалом. В постели. На прогулке в парке.

Почему же так дрожат колени?

* * *

Брансуик-сквер оказался тихим зелёным квадратом, обнесённым чугунной оградой. Высокие платаны — Элинор многозначительно на них покосилась — только начинали распускаться, и сквозь их ветви просвечивало небо. Вокруг стояли дома из тёмного лондонского кирпича, одинаковые, как солдаты в строю: три этажа, высокие окна, белые карнизы, ступени к чёрным дверям.

Хантер-стрит уходила от сквера на север. Короткая, ничем не примечательная улица.

Кэтрин остановилась на углу.

— Тридцатый дом, — сказала она. — Должно быть, там. Третий от угла.

Она не двинулась с места.

Дом номер тридцать ничем не отличался от соседей. Тот же тёмный кирпич. Те же белые карнизы. Та же чёрная дверь с медным молотком и медной табличкой, которая на таком расстоянии сверкала на солнце, не давая прочитать надпись. Только в окнах первого этажа не было занавесок. И за стёклами угадывались не гостиные с диванами и фикусами, а что-то другое — длинные столы, полки, какие-то стеклянные шкафы.

Кэтрин ожидала… она сама не знала, чего ожидала. Колонн, как у музея? Вывески золотыми буквами? Чего-то, что сразу говорило бы: здесь происходит невозможное. Здесь женщин учат быть врачами.

А это был просто дом.

— Хотите, подойдём ближе? — тихо спросила Элинор.

— Да. — Кэтрин сглотнула. — Да. Конечно.

Они перешли улицу. Двадцать шагов. Пятнадцать. Десять. Теперь можно было прочитать табличку:

«LONDON SCHOOL OF MEDICINE FOR WOMEN»

Ничего больше. Ни часов приёма, ни имён. Просто — школа медицины для женщин. Будто это самая обычная вещь на свете. Будто так и должно быть.

Кэтрин остановилась у нижней ступени.

* * *

Дверь открылась.

Кэтрин отшатнулась так резко, что наступила Элинор на ногу. Из дома вышли две девушки — молодые, может быть, её ровесницы, — в тёмных простых платьях, с охапками книг под мышкой. Одна высокая, рыжеволосая, с веснушчатым лицом. Другая маленькая, в очках, с толстой косой, уложенной вокруг головы.

— …а я тебе говорю, что это была не плечевая артерия, а подмышечная, — горячо говорила рыженькая. — Он нарочно спросил, чтобы нас запутать!

— Он спросил, чтобы проверить, слушали ли мы, — возразила та, что в очках. — А ты не слушала, Мэгги. Ты рисовала на полях его портрет с ослиными ушами.

— Это был не портрет, это была анатомическая зарисовка!

Они засмеялись обе и, сбегая по ступеням, едва не налетели на Кэтрин.

— Ох, простите! — Рыжая остановилась. Её зелёные глаза быстро и внимательно оглядели Кэтрин с головы до ног — серое платье, траурную ленту на шляпке, побелевшие пальцы, вцепившиеся в ридикюль. — Вы к нам?

У Кэтрин пересохло во рту.

— Я… я только…

— Вы поступаете? — Девушка в очках шагнула ближе, и лицо её смягчилось. — Секретарь, мисс Хит, принимает до четырёх. Её кабинет на втором этаже, налево. Не пугайтесь, она только с виду суровая. Заходите, мы не кусаемся.

— Кусаемся, но только на экзамене по анатомии, — добавила рыжая и подмигнула.

Кэтрин хотела что-то ответить. Что-то вежливое, умное, правильное. «Благодарю вас, я как раз туда и направляюсь». Слова были готовы, они лежали на языке.

Она не смогла произнести ни одного.

Девушки ещё раз улыбнулись, переглянулись и пошли дальше, к скверу, продолжая спорить об артериях. Кэтрин смотрела им вслед. На их быстрые, лёгкие шаги. На книги под мышкой. На то, как свободно они держатся — будто весь мир принадлежит им.

Она им завидовала. Так остро, что заболело в груди.

* * *

— Мисс Мэйфилд, — тихо сказала Элинор. — Дверь открыта.

Это была правда. Девушки не захлопнули её за собой, и она так и стояла, приоткрытая на ладонь, а за ней виднелся полутёмный коридор, вешалка с плащами, край лестницы с потёртым ковром.

Кэтрин поднялась на первую ступень. На вторую.

И тут она увидела окно.

Окно первого этажа, справа от двери, — без занавесок. За стеклом была длинная комната с белёными стенами. Ряды скамеек. Чёрная доска, исписанная мелом. А у доски, на железной подставке, стоял скелет.

Обыкновенный учебный скелет. Жёлтые кости, соединённые проволокой. Пустые глазницы. Чуть наклонённый набок череп, будто он к чему-то прислушивается.

Мистер Бонс.

Нет, конечно, не он. Мистер Бонс остался в Дербишире, у доктора Грина. Но этот был так похож — тот же наклон головы, та же чуть отставленная рука, — что у Кэтрин перехватило дыхание.

И всё вернулось.

Столовая в полутьме. Догорающие свечи. Запах перезрелых груш от раздавленной ампулы. Тяжёлые руки отца в её руках — вверх, вниз, вверх, вниз. Флакон дигиталиса в трясущихся пальцах. «Я не знаю дозы. Я не помню. Господи, почему я не помню?»

Его глаза, которые перестали её видеть.

Кэтрин стояла на второй ступени и не могла пошевелиться. Не могла дышать. Сердце колотилось где-то в горле, перед глазами плыли тёмные пятна.

Что она здесь делает?

Кто она такая, чтобы входить в эту дверь? Девушка, которая прочитала все книги в отцовском кабинете — и не сумела спасти собственного отца. Девушка, которая знала, как устроено сердце, — и не знала, что делать, когда оно остановилось. Те две девушки, рыжая и в очках, — они настоящие. Они знают, где плечевая артерия, а где подмышечная. А она?

Она самозванка.

Она войдёт, и мисс Хит посмотрит на неё поверх очков и спросит: «Почему вы хотите стать врачом, мисс Мэйфилд?» И Кэтрин придётся ответить. И она скажет правду — потому что не умеет лгать, — и мисс Хит поймёт, что перед ней не будущий врач, а просто испуганная девочка, которая не может простить себе одну ночь.

И её не возьмут. И тогда — всё. Тогда у неё не останется ничего. Ни отца, ни дома, ни мечты.

Пока она не вошла — мечта ещё жива.

Кэтрин медленно спустилась со ступеней.

* * *

Они шли обратно молча. Через Брансуик-сквер, мимо платанов, мимо Британского музея. Кэтрин шагала быстро, глядя под ноги, и щёки у неё горели от стыда.

Струсила. Она струсила. Дошла до самой двери — и повернула назад, как глупая школьница. Что сказал бы отец?

На углу Грейт-Рассел-стрит Элинор вдруг остановилась.

— Здесь есть чайная, — сказала она. — Маленькая, но приличная. Я была в ней позавчера. Давайте выпьем чаю.

— Я не хочу чаю.

— А я хочу. И вы составите мне компанию, потому что одна я сидеть в чайной не могу — это неприлично. — Элинор чуть улыбнулась. — Видите, какое у компаньонки есть преимущество.

Чайная действительно была маленькой — четыре столика, кружевные занавески, хозяйка-шотландка с румяными щеками. Они сели у окна. Им принесли чай в фаянсовом чайнике и тёплые булочки с изюмом.

Кэтрин обхватила чашку обеими руками. Пальцы у неё всё ещё были ледяные.

— Вы, наверное, думаете, что я трусиха, — сказала она, не поднимая глаз.

— Нет, — сказала Элинор. — Я думаю, что вам очень страшно. Это разные вещи.

— Есть разница?

— Огромная. Трус — это тот, кто не идёт, потому что ему не очень-то и хочется. А вы не пошли, потому что вам хочется слишком сильно. — Элинор отломила кусочек булочки. — Когда чего-то очень хочешь, страшно потерять это ещё до того, как получил. Правда?

Кэтрин подняла на неё глаза.

— Откуда вы знаете?

Элинор ответила не сразу. Она смотрела в окно, на улицу, где мимо чайной проезжали кэбы, и в лице у неё мелькнуло что-то незнакомое. Что-то давнее и печальное.

— Знаю, — просто сказала она. — Поверьте мне. Знаю.

Она не стала объяснять. И Кэтрин не стала спрашивать. Но в эту минуту она вдруг поняла, что у тихой, насмешливой, всё замечающей мисс Прайс тоже есть своя тайна. И что когда-нибудь, может быть, Элинор ей её расскажет.

— Скелет в окне, — сказала Кэтрин тихо. — У моего отца был точно такой же. Я в детстве звала его Мистер Бонс и надевала ему на голову папину шляпу.

Элинор ничего не сказала. Только протянула через стол руку и на секунду накрыла её ладонь своей.

* * *

Когда они вернулись в гостиницу, было без четверти одиннадцать. Миссис Белл ещё не выходила из спальни.

Кэтрин закрылась у себя и села за письменный стол. Достала письмо из школы. «В любой удобный ей день после пятнадцатого апреля». Не завтра. Не обязательно сегодня. В любой день.

У неё ещё есть время.

Но одно она поняла сегодня, стоя на второй ступени перед открытой дверью. Она боится не мисс Хит. Не экзамена. Не тётушки Гортензии. Она боится, что недостаточно знает. Что она — та, что прочитала, но не умеет. Что, когда её спросят, она снова будет стоять с флаконом в руке и не помнить дозы.

Значит, надо знать больше. Намного больше.

Отцовские книги остались в ящиках на складе в Кенсингтоне — тётушка не позволила тащить их в гостиницу, «это же не библиотека, Кэтрин, это отель». С собой у Кэтрин была только «Физиология» Карпентера и потрёпанный учебник латыни. Этого мало. Ей нужна анатомия. Фармакология. Ей нужно…

Она вспомнила полоску зелёного света за приоткрытой дубовой дверью. Бесконечные полки до потолка. «Лучшая частная библиотека в Вест-Энде».

* * *

В пять часов в номер постучали, и две девушки-посыльные внесли огромные плоские коробки, перевязанные лиловыми лентами. На каждой золотом было вытиснено: «Мадам Леклер. Бонд-стрит».

— Наконец-то! — Гортензия выпорхнула из спальни, на ходу поправляя кудряшки. — Я уж думала, она никогда не успеет.

Три дня назад, на следующее утро после приезда, миссис Белл объявила, что гардероб племянницы «никуда не годится» — «Кэтрин, дорогая, ты одеваешься как жена викария, причём викария бедного», — и повезла её на Бонд-стрит. Мадам Леклер, маленькая француженка с булавками во рту и глазами ювелира, обошла Кэтрин кругом, как скульптор обходит глыбу мрамора, и произнесла одно слово: «Enfin». Потом были бесконечные примерки, ленты, шнурки, сантиметры. Кэтрин терпела, думая о латыни.

Теперь коробки лежали на диване. Гортензия развязывала ленты одну за другой, и из шуршащей папиросной бумаги появлялись платья.

Дневное — жемчужно-серое, с лиловой отделкой, узкое в талии, с турнюром, который Кэтрин сразу возненавидела. Прогулочное — цвета сирени, с короткой бархатной жакеткой. И вечернее.

Когда Гортензия вынула его из коробки, даже Элинор, сидевшая у окна с рукоделием, тихо ахнула.

Шёлк глубокого фиалкового цвета — тёмный, почти чёрный в складках и вспыхивающий лиловым там, где на него падал свет. Лиф облегал фигуру, как вторая кожа, и заканчивался низким вырезом, открывавшим плечи. Вместо рукавов — узкие полоски чёрного кружева. Юбка падала тяжёлыми волнами и чуть тянулась сзади небольшим шлейфом.

— Тётя, — медленно сказала Кэтрин. — Я в трауре.

— В полутрауре, дорогая. А лиловый — цвет полутраура. Спроси кого угодно.

— У него нет плеч.

— У него есть плечи. Твои. — Гортензия решительно сунула платье ей в руки. — Все вечерние платья так шьют, Кэтрин. Ты была на балах в прошлом году — разве ты видела там хоть одно платье до подбородка? Ты сегодня наденешь его к ужину. Это не обсуждается.

Через час Кэтрин стояла перед высоким зеркалом в своей комнате и не узнавала себя.

Горничная затянула корсет так, что талию можно было обхватить двумя ладонями. Элинор уложила её тёмные волосы в высокую причёску, выпустив на шею несколько вьющихся

прядей. Фиалковый шёлк мягко светился в свете ламп. Плечи — белые, гладкие, которых она никогда в жизни не открывала никому, — казались в этой оправе чужими. Над вырезом поднималась и опускалась грудь, и Кэтрин с ужасом поняла, что сейчас её видно гораздо больше, чем она привыкла.

Из зеркала на неё смотрела не дочь сельского врача. Не девушка с отцовской книгой под мышкой. Женщина. Незнакомая, тревожащая, с огромными серыми глазами и испуганно приоткрытыми губами.

— Я не могу так выйти, — прошептала Кэтрин.

— Можете, — сказала Элинор у неё за спиной. Тихо и совершенно серьёзно. — Вы очень красивы, мисс Мэйфилд. Вам просто никто этого не говорил.

* * *

Ресторан «Голдсмита» был залит светом. Хрустальные люстры, белые скатерти, серебро, цветы на каждом столе. Негромкий гул голосов, звон бокалов, где-то в глубине зала — струнный квартет.

Когда Кэтрин вошла вслед за тётушкой, несколько голов повернулось в её сторону. Она почувствовала эти взгляды кожей — открытыми плечами, шеей, спиной — и ей захотелось провалиться сквозь паркет.

Метрдотель проводил их к столику у окна. Кэтрин села, выпрямив спину, и уставилась в меню, не видя ни строчки.

Гортензия была в прекрасном настроении. Она рассказывала, что на дневном приёме у леди Пембертон встретила миссис Ормсби, а у миссис Ормсби есть племянник, а у племянника — поместье в Хэмпшире и восемь тысяч годовых.

— И он будет на балу у Гарденеров в конце месяца, — торжествующе сообщила миссис Белл. — И я уже договорилась, что тебя ему представят. Кэтрин, ты меня слушаешь?

— Да, тётя. Восемь тысяч. Хэмпшир.

Она подняла глаза от меню — и замерла.

У дальней стены зала, возле высокой двери, ведущей в зимний сад, стоял он. Тот самый незнакомец. В чёрном вечернем фраке, с белоснежной манишкой, он что-то негромко говорил метрдотелю, и тот почтительно кивал, едва не кланяясь в пояс.

Будто почувствовав её взгляд, незнакомец повернул голову.

Их глаза встретились через весь зал.

Кэтрин видела, как он её узнал. Сначала — лёгкое удивление: он скользнул взглядом по её лицу, по причёске, по фиалковому шёлку. Потом взгляд его опустился ниже — на открытые плечи, на шею, на линию выреза — и задержался там на одно долгое мгновение. Совсем недолго. Но достаточно, чтобы Кэтрин почувствовала, как жар поднимается от груди к щекам, к ушам, к самым корням волос.

А потом он снова посмотрел ей в глаза. И в его взгляде было что-то, от чего у неё перехватило дыхание. Не насмешка. Не светская оценка, какой мужчины в прошлом сезоне окидывали её с ног до головы, прикидывая, сколько за ней дают. Что-то тёмное, горячее и очень, очень откровенное.

Он медленно, едва заметно склонил голову. Как будто говорил: «Я вас вижу. Всю».

Кэтрин опустила глаза в тарелку. Сердце колотилось так, что, казалось, его слышно за соседним столиком.

* * *

Натан Голдсмит видел за свою жизнь сотни красивых женщин в вечерних платьях. Он думал, что его этим уже не удивить.

Он ошибался.

Утром в зимнем саду была девушка в сером — строгая, умная, колючая, с книгой, прижатой к груди, как щит. Он запомнил её глаза и её голос. Он думал о ней весь день.

Сейчас за столиком у окна сидела женщина.

Фиалковый шёлк облегал её, как ладонь. Высокая шея, тонкие ключицы, плечи, светившиеся в свете люстр, как жемчуг. Вьющаяся прядь тёмных волос на белой коже. Грудь, которая — он видел это даже отсюда — поднималась от частого, взволнованного дыхания. И румянец. Тот самый утренний румянец, который теперь заливал не только её щёки, но и шею, и плечи, и уходил ниже, туда, где начинался шёлк.

Она не знала, как действует на мужчин. Это было видно по тому, как она держалась — неловко, напряжённо, будто платье было ей чужим. Та, что знает, — играет. Та, что не знает, — просто существует, и от этого во сто крат опаснее.

Натан почувствовал, как у него пересохло во рту. Желание ударило его — внезапное, острое, почти болезненное, — такое, какого он не испытывал с юности. Он хотел подойти к её столику. Хотел провести пальцем по этой вьющейся пряди на её шее. Хотел увидеть, как далеко уходит румянец.

Вместо этого он поклонился — едва заметно — и отвернулся к метрдотелю.

— Столик у окна, — сказал он ровным голосом. — Миссис Белл и мисс Мэйфилд. Шампанское за счёт заведения. И десерт. Самый лучший.

— Будет исполнено, мистер Голдсмит.

* * *

— Кэтрин! — Гортензия схватила её за руку. — Ты видела? Этот джентльмен у двери. Он на тебя смотрел!

— Не смотрел, тётя.

— Смотрел! Я видела! — Миссис Белл повернулась к официанту, который как раз ставил на их стол серебряное ведёрко с бутылкой шампанского. — Мы не заказывали шампанского.

— С наилучшими пожеланиями от заведения, мадам.

— От заведения? — Тётушка понизила голос. — Скажите, милейший, кто тот джентльмен у двери в зимний сад? Высокий, во фраке?

Официант проследил за её взглядом.

— Это мистер Голдсмит, мадам. Владелец гостиницы.

Кэтрин медленно поставила бокал на скатерть.

Мистер Голдсмит. Владелец. Тот самый, который собирает лучшую библиотеку в Вест-Энде. Тот самый, который выгнал даму за загнутый уголок.

И она сказала ему, что джентльмены говорят о женском уме, ничего в нём не понимая.

— Голдсмит, — задумчиво протянула Гортензия, провожая взглядом высокую фигуру, исчезающую за дверью зимнего сада. — Богат, говорят, невероятно. Но, дорогая, он ведь еврей. — Она вздохнула с искренним сожалением. — Жаль. Такой видный мужчина. Ешь десерт, Кэтрин. Он, наверное, стоит целое состояние.

Кэтрин ела десерт и не чувствовала вкуса.

Она дождалась, пока гостиница затихнет. Пока погаснет свет под дверью тётушкиной спальни. Пока часы в гостиной пробьют полночь.

Она так и не переоделась: не захотела звать горничную, а сама расшнуровать корсет не могла. Только накинула на открытые плечи тёмную шаль, взяла свечу и тихо, на цыпочках, вышла в коридор.

Гостиница спала. Электрические лампы на ночь притушили, и коридоры тонули в мягком полумраке. Ковёр глушил шаги. Где-то далеко внизу пробили часы. Кэтрин спустилась по лестнице на второй этаж и пошла по галерее — мимо закрытых дверей, мимо портретов в золочёных рамах, мимо пальм в кадках, отбрасывавших на стены длинные тени.

Вот они. Двустворчатые двери из резного дуба.

Закрыты.

Она подошла ближе. Положила руку на бронзовую ручку в виде львиной головы. Сердце снова застучало быстро-быстро — но совсем не так, как утром на Хантер-стрит. Утром это был страх. Сейчас — что-то другое. Что-то похожее на азарт.

«Говорят, одну даму он попросил съехать из гостиницы за то, что она загнула уголок страницы».

Теперь она знала, кто он. Знала, что дерзила утром не случайному постояльцу, а хозяину всего этого мраморного дворца. Разумная девушка вернулась бы к себе и легла спать.

Но в полночь все хозяева спят. А ей нужна анатомия. Она не будет загибать уголков. Она только посмотрит. Одним глазком. Только найдёт нужную книгу — и сразу назад.

Кэтрин осторожно нажала на ручку.

Дверь подалась без единого звука.

Внутри было темно — только в дальнем конце зала, у камина, горела настольная лампа под зелёным абажуром. Её свет выхватывал из темноты кусок ковра, край кожаного кресла, стопку книг на столике.

И мужскую руку, лежащую на подлокотнике. С длинными пальцами. С тяжёлым перстнем на мизинце.

Рука шевельнулась. Перелистнула страницу.

Кэтрин узнала этот перстень раньше, чем из темноты раздался спокойный, низкий, чуть насмешливый голос — тот самый, из зимнего сада:

— Входите уже, мисс Мэйфилд. Или закройте дверь. Сквозняк.

Глава 5. Библиотека

Кэтрин Мэйфилд была не робкого десятка.

Она в девять лет залезла на самый высокий вяз в Литтл-Холлоу, чтобы снять оттуда котёнка. В двенадцать — украла отцовский анатомический атлас. В пятнадцать держала тазик, пока отец зашивал распоротую косой ногу батрака, и не упала в обморок, хотя кровь заливала пол. Она не боялась ни мёртвых, ни крови, ни темноты, ни сельских быков.

Но сейчас, стоя на пороге библиотеки со свечой в руке, она поняла, что существует страх совсем другого рода.

Полночь. Пустая гостиница. Тёмный зал. И мужчина у камина, который сегодня вечером смотрел на неё через весь ресторан так, что у неё до сих пор горели плечи.

Разумная девушка повернулась бы и ушла.

Кэтрин вошла и закрыла за собой дверь.

* * *

Он поднялся ей навстречу. В свете лампы она увидела, что он уже без фрака — в одной белой рубашке с расстёгнутым воротом и тёмном жилете, рукава закатаны до локтей. На столике рядом с креслом стоял бокал с чем-то янтарным, лежала раскрытая книга. Он выглядел совсем не так, как в ресторане. Не хозяином мраморного дворца. Просто мужчиной, который не может уснуть.

— Мисс Мэйфилд. — Он чуть поклонился. — Какая неожиданность.

— Не думаю, что неожиданность, мистер Голдсмит. — Голос у неё прозвучал твёрже, чем она надеялась. — Вы назвали меня по имени, не видя лица.

— Я видел ваш подсвечник. В гостинице только одна постоялица ходит по ночам со свечой, когда во всех коридорах есть электрический свет. Провинциальная привычка. — В уголке его губ мелькнула знакомая складка. — И только одна постоялица смотрела сегодня на мою библиотеку так, будто это рай, а у неё нет пропуска.

Кэтрин почувствовала, что краснеет. Опять.

— Я должна извиниться, — сказала она. — За то, что сказала вам утром. Про джентльменов и женский ум. Я не знала, кто вы.

— А если бы знали — не сказали бы?

Она подумала.

— Сказала бы. Но вежливее.

Натан рассмеялся — тем же коротким, удивлённым смехом, что и утром, — и Кэтрин вдруг почувствовала, как отпускает напряжение в плечах.

— Не извиняйтесь. Это было лучшее, что я слышал за последний год. — Он указал на второе кресло у камина. — Садитесь. И скажите мне, ради чего девушка в бальном платье пробирается в полночь в чужую библиотеку. Ради Диккенса?

— Ради Грея, — честно ответила Кэтрин. — «Анатомия описательная и хирургическая». Последнее издание. Мне нужно… мне нужно кое-что повторить.

Он не сел. Он стоял и смотрел на неё, и тёмные глаза его в свете лампы казались совсем чёрными.

— Зачем?

* * *

Потом, вспоминая эту ночь, Кэтрин так и не смогла понять, почему рассказала ему всё.

Может быть, потому что было темно, и в темноте легче говорить правду. Может быть, потому что он спросил не из вежливости, а так, будто ответ действительно имел для него значение. А может быть, потому что ей отчаянно нужно было рассказать это хоть кому-нибудь — и рядом оказался он.

Она рассказала ему про письмо из Лондонской школы медицины для женщин. Про вступительный экзамен. Про то, как сегодня утром дошла до самой двери на Хантер-стрит — и повернула назад. Про отца она сказала только одно: что он умер у неё на руках и что она не смогла его спасти.

Натан слушал молча. Он так и не сел — стоял, прислонившись плечом к каминной полке, скрестив руки на груди. Но когда она замолчала, Кэтрин увидела в его лице то, чего никак не ожидала.

Не насмешку. Не снисхождение. Изумление.

— Вы хотите стать врачом, — медленно произнёс он, будто пробуя эти слова на вкус. — Не выйти замуж за восемь тысяч в Хэмпшире. Не блистать на балах. Врачом.

— Вы слышали про Хэмпшир?

— Ваша тётушка говорит довольно громко, мисс Мэйфилд. А у меня хороший слух. — Он оттолкнулся от камина и сделал шаг к ней. — Почему?

— Потому что я обещала.

— Отцу?

— Себе.

Он помолчал.

— Знаете, сколько женщин я встречал за свою жизнь? — тихо спросил он. — Сотни. Тысячи. Они хотели бриллиантов. Титулов. Мужей. Внимания. Одна хотела, чтобы я назвал в её честь номер люкс. Ни одна из них никогда не хотела ничего… — он поискал слово, — ничего настолько больше себя самой.

— Это не так уж благородно, мистер Голдсмит. Это просто… правильно. Кто-то должен.

— Именно это и делает это благородным, — сказал Натан. — То, что вы этого не замечаете.

* * *

Они говорили долго.

Свеча Кэтрин догорела, и он зажёг вторую лампу. Часы на каминной полке пробили час, потом половину второго. Кэтрин забыла, что сидит в бальном платье с открытыми плечами наедине с мужчиной. Забыла, что это неприлично, невозможно, что, узнай об этом тётушка Гортензия, с ней случился бы удар.

Она говорила о том, о чём никогда не говорила вслух.

— Знаете, от чего в Англии умирает больше всего молодых женщин? — спросила она, подавшись вперёд. — Не от чахотки. Не от холеры. От родов. От родильной горячки. Отец говорил, что в больницах для бедных она в некоторые годы уносила каждую десятую роженицу. Каждую десятую, мистер Голдсмит! А ведь Земмельвейс ещё сорок лет назад доказал, что достаточно врачам вымыть руки хлорной водой, — и смертность падает в разы. Листер показал, как работает карболка. Это известно! Это напечатано в журналах! А в Ист-Энде женщины по-прежнему рожают на грязной соломе, с повитухой, которая не моет рук от одних родов до других и режет пуповину кухонным ножом.

Натан смотрел на неё не отрываясь.

— Отец вёл записи, — продолжала Кэтрин, и глаза её горели. — Тридцать лет. Он мыл руки карболкой перед каждыми родами — над ним смеялись, называли чудаком. А за последние десять лет у него не умерло от горячки ни одной роженицы. Ни одной! В деревне, где нет никакой больницы. Представляете, что можно было бы сделать, если бы так работали везде? Если бы повитух учили? Если бы для бедных женщин были родильные приюты — чистые, с обученными сиделками, с врачом? Если бы женщина могла позвать врача-женщину, которой не стыдно показаться?

Она остановилась, вдруг сообразив, что почти кричит. И что говорит джентльмену о вещах, о которых леди не говорят даже с мужем.

— Простите. Я увлеклась.

— Не останавливайтесь, — сказал Натан. Голос у него был странный, хрипловатый. — Пожалуйста.

Он сел наконец — не в кресло, а на низкую скамеечку у её ног, так что их лица оказались почти на одном уровне. Кэтрин почувствовала тепло, идущее от него, — тепло большого, сильного мужского тела, — и запах: сандал, табак, что-то горьковатое.

— У моей матери было шестеро детей, — сказал он, глядя в огонь. — Выжили трое. Одна сестра умерла через неделю после рождения. Брат — через месяц. А последний раз мать сама чуть не умерла. Я был тогда мальчишкой, восемь лет. Помню, как всю ночь сидел под дверью и слушал, как она кричит. А утром вышел доктор — с окровавленными руками, в сюртуке, в котором он, кажется, приходил от всех своих больных, — и сказал отцу, что надо готовиться к худшему. — Натан помолчал. — Она выжила. Чудом. Но ребёнок — нет. И больше у неё детей не было.

— Мне очень жаль, — тихо сказала Кэтрин.

— Я никогда не думал, что это можно было изменить. — Он повернулся к ней. — Мне казалось — так устроен мир. Бог даёт, Бог забирает. А вы говорите, что достаточно было вымыть руки.

— Не всегда. Но часто.

Натан долго смотрел на неё.

— Вы удивительная женщина, мисс Мэйфилд, — сказал он. — Я не знал, что такие бывают.

Кэтрин не нашлась, что ответить. Она смотрела на его лицо — так близко, в мягком свете лампы, — на резкую линию скул, на тени под глазами, на твёрдый рот, который вдруг перестал усмехаться. И впервые подумала, что он красив. Не так, как красивы мужчины на портретах. По-другому. Опасно.

* * *

— Ну что ж, — сказал Натан, поднимаясь, и голос его снова стал лёгким, насмешливым. — Вы пришли за Греем. Он стоит на третьей полке слева. Но я не могу просто так отдать вам ключ от моей библиотеки, мисс Мэйфилд. У меня репутация. Говорят, я выгоняю постояльцев за загнутые уголки.

— А это правда?

— Один раз. Та дама загнула уголки на сорока страницах первого издания Шекспира. Я её не выгнал. Я просто вежливо попросил её больше не приходить. А она обиделась и съехала сама. — Он подошёл к письменному столу и оперся на него. — Предлагаю сделку. Я загадаю вам три загадки. Ответите на все три — библиотека ваша. В любое время дня и ночи. Не ответите…

— Не отвечу — что?

В тёмных глазах блеснуло.

— Не ответите — придумаю.

Кэтрин выпрямилась в кресле.

— Загадывайте.

— Первая. Простая, для разминки. — Натан чуть прищурился. — Чем больше из неё берёшь, тем больше она становится.

Кэтрин едва не рассмеялась.

— Яма, мистер Голдсмит. Это знает каждый ребёнок в Дербишире.

— Я так и думал. Проверял, не спите ли вы. — Он прошёлся вдоль стола. — Вторая. Я тружусь всю жизнь, днём и ночью, без единой минуты отдыха. Я никогда не сплю. И если я остановлюсь, мой хозяин заметит это последним.

Кэтрин замерла.

Улыбка медленно сошла с её лица. Она смотрела на него, и вдруг в библиотеке стало очень тихо — так тихо, что было слышно, как потрескивают угли в камине.

— Сердце, — сказала она еле слышно.

Натан понял. Она видела, как он понял — в ту же секунду, — и как лицо его изменилось.

— Простите, — сказал он. — Я не подумал. Это было…

— Нет. — Кэтрин покачала головой и заставила себя улыбнуться. — Нет, не извиняйтесь. Это хорошая загадка. Правильная. Он бы её оценил. — Она глубоко вдохнула. — Третья?

Натан смотрел на неё ещё мгновение. Потом кивнул.

— Третья. Самая трудная. На ней спотыкались профессора Оксфорда. — Он заложил руки за спину. — Человек стоит перед портретом и говорит: «Братьев и сестёр у меня нет. Но отец этого человека — сын моего отца». Чей это портрет?

Кэтрин нахмурилась.

— Повторите, пожалуйста.

— «Братьев и сестёр у меня нет. Но отец этого человека — сын моего отца».

Она закрыла глаза. Сын моего отца… Братьев нет. Значит, сын моего отца — это я сам. Значит, отец этого человека — я. Значит…

— Его сына, — сказала Кэтрин, открывая глаза. — Это портрет его сына.

Натан молчал несколько секунд. Потом медленно, торжественно поаплодировал.

— Профессор Хадсон из Баллиол-колледжа думал над этим двадцать минут и сказал, что это портрет его самого.

— Профессор Хадсон, вероятно, никогда не составлял родословных для деревенских свадеб, — сказала Кэтрин. — В Литтл-Холлоу все друг другу родня. Там без этого не выживешь.

И тут Натан рассмеялся по-настоящему — запрокинув голову, громко, от души, так, как, наверное, не смеялся много лет. И Кэтрин, глядя на него, рассмеялась тоже. Они хохотали посреди тёмной библиотеки, в два часа ночи, как дети, и она никак не могла остановиться, и он тоже.

— Библиотека ваша, мисс Мэйфилд, — сказал он наконец, вытирая глаза. — Честно заработана.

* * *

Грей стоял именно там, где он сказал: на третьей полке слева. Кэтрин вытащила тяжёлый том и прижала его к груди.

Но рядом, на самой верхней полке, под потолком, она увидела то, отчего у неё остановилось дыхание.

Огромный фолиант в потемневшем кожаном переплёте с медными застёжками. На корешке, вытисненные полустёртым золотом, латинские буквы: «VESALIUS. DE HUMANI CORPORIS FABRICA».

— Это… — Она обернулась к нему. — Это Везалий? Настоящий?

— Второе издание. Базель, 1555 год. — Натан подошёл ближе. — Я купил его на аукционе в Амстердаме пять лет назад. Отдал за него больше, чем стоит хороший экипаж с парой лошадей.

— Отец всю жизнь мечтал хотя бы увидеть Везалия. Хотя бы одну страницу. В оригинале, а не в перерисовке. — Кэтрин смотрела на фолиант, как смотрят на святыню. — Можно? Только посмотреть. Я буду очень осторожна.

— Подождите, я принесу…

Но она уже поставила Грея на стол и шагнула к бронзовой библиотечной лестнице на колёсиках.

Она поднялась на одну ступень. На вторую. На третью. Лестница чуть качнулась, но Кэтрин держалась крепко. Четвёртая. Пятая. Вот он, совсем близко. Она протянула руку…

Шлейф.

Проклятый фиалковый шлейф, о котором она совершенно забыла, зацепился за нижнюю ступень. Кэтрин потянулась к фолианту, платье натянулось, дёрнуло её назад — и нога соскользнула с гладкой бронзы.

Она даже не успела вскрикнуть.

Мир качнулся. Полки поплыли вверх. Она падала — спиной вперёд, взмахнув руками, — и где-то в глубине сознания успела подумать: «Какая глупая смерть. Тётушка будет в ярости».

А потом её поймали.

Сильные руки подхватили её на лету — одна под спину, другая под колени — и прижали к твёрдой, горячей груди. Она почувствовала толчок, услышала, как он охнул, принимая её вес, — и всё остановилось.

* * *

Она лежала у него на руках.

Сердце колотилось так, что она слышала его в ушах. Его сердце она тоже слышала — оно билось совсем рядом, под её ладонью, которой она инстинктивно вцепилась в его рубашку. Быстро. Так же быстро, как её собственное.

Шаль соскользнула с её плеч и упала на ковёр. Его ладонь лежала на её голой спине, над вырезом платья, и она чувствовала каждый его палец — горячие, чуть шершавые, обжигающие.

— Вы… — начал он хрипло. — Вы целы?

— Да, — прошептала она. — Кажется.

Он не опустил её на пол. Он стоял и держал её, и смотрел на неё сверху вниз. Его лицо было совсем близко. Она видела каждую ресницу, каждую морщинку в уголках глаз, тёмную тень щетины на подбородке. Видела, как его взгляд скользнул по её лицу — по глазам, по губам, — и остановился на губах.

И что-то изменилось в его глазах. Что-то потемнело.

— Кэтрин, — сказал он. Просто имя. Без «мисс». Так, как никто не называл её с тех пор, как умер отец. И совсем не так, как называл её отец.

Она должна была сказать: «Поставьте меня, мистер Голдсмит». Она должна была вырваться, отступить, убежать. Она знала это. Каждая клеточка воспитания, каждый урок тётушки, каждое правило приличия кричали ей об этом.

Она не сказала ничего.

Он медленно опустил её на ноги — но не отпустил. Одна рука осталась на её талии, другая поднялась к её лицу. Пальцы коснулись щеки, скользнули к виску, к выбившейся пряди волос. Очень осторожно. Будто она была сделана из того же хрупкого старинного пергамента, что и его Везалий.

А потом он наклонился и поцеловал её.

Не робко. Не почтительно. Пылко — так, будто ждал этого всю жизнь, а не один день.

Пол ушёл у неё из-под ног.

Кэтрин никогда не целовалась. Она читала о поцелуях в романах, которые тайком брала у дочери викария, и думала, что это, должно быть, что-то лёгкое и сладкое, как пирожное. Это было не пирожное. Это было как прыжок в ледяную воду и как огонь одновременно. Его губы были горячими и требовательными, его рука на её талии прижимала её к нему всё крепче, и она чувствовала всё его тело — твёрдое, сильное, — сквозь тонкий шёлк. В голове не осталось ни одной мысли. Ни латыни, ни анатомии, ни Хантер-стрит. Только его губы. Только его руки. Только жар, который поднимался откуда-то из глубины и разливался по всему телу до самых кончиков пальцев.

Её руки сами поднялись и обвили его шею. Пальцы зарылись в тёмные волосы на затылке. И она ответила на поцелуй — неумело, неловко, но так горячо, что он застонал ей в губы — тихо, глухо, — и от этого звука у неё подогнулись колени.

Она не знала, сколько это длилось. Секунду. Вечность.

Часы на каминной полке пробили три.

* * *

Кэтрин отпрянула.

Она стояла посреди библиотеки, задыхаясь, прижав пальцы к губам. Губы горели. Щёки горели. Всё тело горело так, будто у неё жар.

Натан смотрел на неё. Грудь его тяжело вздымалась, волосы были растрёпаны — её пальцами, — а в глазах было что-то такое, от чего у неё снова закружилась голова.

— Кэтрин…

— Нет. — Она отступила на шаг. — Нет. Не надо. Я… это было… — Она не могла найти слов. Она, которая всегда находила слова. — Этого не было. Слышите? Этого не было.

— Было, — тихо сказал Натан. — И вы это знаете.

Она наклонилась, подхватила с ковра шаль, схватила со стола Грея — тяжёлый, неудобный, прижала его к груди, как щит. И бросилась к двери.

— Кэтрин! — окликнул он, когда она уже взялась за бронзовую львиную голову.

Она остановилась. Не обернулась.

— Вы забыли подсвечник, — сказал он. А потом, тише: — И Везалия. Он будет ждать вас. Так же, как и я.

Она выскочила в коридор и побежала — подхватив одной рукой подол и прижимая другой Грея, мимо портретов, мимо пальм, вверх по лестнице, — пока не захлопнула за собой дверь своей комнаты и не прислонилась к ней спиной.

В комнате было темно и тихо. Где-то за стеной похрапывала тётушка Гортензия.

Кэтрин медленно сползла по двери на пол, обхватила колени руками и зажмурилась.

Её губы всё ещё помнили его губы. Её спина всё ещё помнила его ладонь. И сердце всё никак не хотело успокоиться — колотилось и колотилось, без единой минуты отдыха.

— Только не это, — прошептала Кэтрин в темноту. — Господи. Только не это.

Она не собиралась влюбляться. У неё была цель. У неё была Хантер-стрит. У неё было обещание.

А он был евреем, владельцем гостиницы и самым невыносимым мужчиной на свете.

И она хотела, чтобы он поцеловал её снова.

Глава 6. Записки в книгах

Кэтрин не спала до рассвета.

Она лежала под кремовым пологом, смотрела в темноту и снова и снова проживала одно и то же. Лестница. Шлейф. Падение. Его руки. Его губы. Его голос: «Кэтрин».

Она закрывала глаза — и чувствовала его ладонь на своей спине. Открывала — и видела в темноте его лицо, совсем близко, с потемневшими глазами.

Она пробовала повторять латынь. Кости запястья: ладьевидная, полулунная, трёхгранная, гороховидная… На гороховидной она сбилась и поймала себя на том, что снова думает о том, как он застонал ей в губы.

К шести утра она сдалась, встала и подошла к окну. Над Грин-парком поднимался розовый туман. Где-то внизу, на Пикадилли, уже стучали первые колёса. Новый день. Самый обычный.

Только она больше не была обычной.

«Этого не было», — сказала она ему.

Было. И её губы до сих пор это помнили.

* * *

— Ты ужасно выглядишь, — объявила Гортензия за завтраком.

Завтракали в номере — Кэтрин настояла, сославшись на мигрень. Ей казалось, что если она спустится в ресторан, то каждый официант, каждый постоялец, каждая золотая рыбка в фонтане посмотрят на неё и сразу всё поймут.

— Я плохо спала, тётя.

— Это всё шампанское. Я тебе говорила, что одного бокала достаточно. — Миссис Белл намазала тост апельсиновым джемом. — Ну ничего. До бала у Гарденеров ещё две недели. Успеешь отоспаться. Мадам Леклер обещала к балу белое платье с лиловым поясом. Белое, Кэтрин! Траур почти кончился. Племянник миссис Ормсби увидит тебя в белом и…

Кэтрин кивала и не слышала ни слова.

Элинор сидела напротив и молча пила чай. Но когда тётушка вышла распорядиться насчёт экипажа для дневных визитов, она поставила чашку на блюдце и негромко сказала:

— Вы вчера вернулись в начале четвёртого.

Кэтрин вздрогнула так, что звякнула ложечка.

— Откуда вы…

— Я сплю чутко. И у вас скрипит дверь. — Элинор помолчала. — И у вас губы немного припухли, мисс Мэйфилд. Вот здесь. Я бы на вашем месте попудрила их перед дневными визитами.

Кэтрин почувствовала, как кровь бросилась ей в лицо. Она открыла рот, чтобы что-нибудь сказать — что угодно, — и не нашла ни слова.

— Я ни о чём не спрашиваю, — спокойно продолжала Элинор, снова берясь за чашку. — И миссис Белл ничего не скажу. Просто будьте осторожны. Вы знаете, что бывает с девушками, которых видят в коридорах в три часа ночи.

— Ничего не было, — прошептала Кэтрин.

Элинор посмотрела на неё поверх чашки. Долгим, понимающим, чуть печальным взглядом.

— Конечно, — сказала она. — Конечно, ничего.

* * *

Кэтрин приняла решение.

Она будет его избегать. Это просто. Это разумно. Это единственно правильно. В конце концов, гостиница огромная, шесть этажей, двести номеров. Можно жить здесь месяцами и ни разу не встретить хозяина — если не ходить туда, где он бывает.

Значит, никакого зимнего сада по утрам. Никакого ресторана — завтракать и ужинать в номере, сколько бы тётушка ни ворчала. Выходить через боковой подъезд. И главное — никакой библиотеки. Ни днём, ни тем более ночью.

У неё есть Грей. Этого пока хватит.

Весь тот день она просидела в своей комнате с анатомией. Читала, конспектировала, рисовала в тетради кости черепа. Сфеноидальная кость похожа на бабочку. Решётчатая — на губку. Она повторяла латинские названия вслух, твёрдо, как молитву, — и ни разу, ни единого разу не подумала о тёмных глазах.

Почти ни разу.

В пять часов в дверь постучали.

На пороге стоял мальчик-посыльный в зелёной ливрее с золотыми пуговицами. Он держал в руках что-то плоское, завёрнутое в коричневую бумагу и перевязанное бечёвкой.

— Для мисс Мэйфилд, — сказал он и протянул свёрток. — Велели передать лично в руки.

— Кто велел?

Мальчик сделал невинное лицо.

— Не могу знать, мисс.

Он исчез прежде, чем она успела спросить что-то ещё.

Кэтрин закрыла дверь и долго смотрела на свёрток. Потом развязала бечёвку.

Внутри была книга. Маленький томик в синем сафьяновом переплёте. «Путешествия Гулливера». Свифт.

Она раскрыла его — и на колени ей выпал сложенный вдвое листок плотной кремовой бумаги. Почерк был твёрдый, размашистый, с сильным нажимом.

«Мисс Мэйфилд!

Вы забыли в моей библиотеке подсвечник. Возвращаю вместо него Свифта — он легче и гораздо умнее.

Вы сказали, что вчерашней ночи не было. Я человек деловой и привык уважать условия сделки. Если не было — значит, не было. Но библиотека по-прежнему ваша: вы заработали её честно, и я не отнимаю того, что отдал.

А чтобы вам не было скучно в ваше отсутствие, вот вам четвёртая загадка. Вне конкурса.

Меня можно сломать, даже не прикоснувшись ко мне. Что я?

Ответ найдёте на той полке, где Гулливер встречается с великанами.

Н. Г.»

Кэтрин перечитала записку дважды.

Потом скомкала её и бросила в камин.

Потом встала, вытащила её из камина — огонь ещё не успел её тронуть, только обуглил краешек, — расправила на коленях и перечитала в третий раз.

«Меня можно сломать, даже не прикоснувшись ко мне».

Обещание, подумала она мгновенно. Обещание можно сломать, не прикасаясь.

И тут же поняла, что это не просто загадка. Это вопрос. Обещание, которое он дал — уважать её слово. Обещание, которое она дала — себе, отцу, Хантер-стрит.

Она сунула записку в «Физиологию» Карпентера и решительно вернулась к анатомии.

Сфеноидальная кость похожа на бабочку.

Сфеноидальная кость похожа на бабочку…

* * *

Она продержалась до следующего вечера.

Целые сутки она не подходила к библиотеке. Целые сутки она убеждала себя, что ей совершенно неинтересно, что там, «на той полке, где Гулливер встречается с великанами». Что это глупая игра. Что он просто забавляется. Что так поступают повесы.

А потом, в шесть часов, когда тётушка уехала на обед к леди Пембертон, а Элинор устроилась в гостиной с вышиванием, Кэтрин вдруг поднялась.

— Я схожу за книгой, — сказала она. — Мне нужна… фармакология.

Элинор подняла глаза от пялец.

— Сейчас шесть часов, — заметила она. — Мистер Голдсмит в это время обычно в ресторане. Встречает гостей.

— Откуда вы знаете?

— Я наблюдательна, — сказала Элинор. И снова опустила глаза к вышиванию.

В библиотеке было пусто и светло. Предзакатное солнце лилось сквозь высокие окна, золотило корешки, ложилось длинными полосами на ковёр — на то самое место, где две ночи назад она упала с лестницы ему в руки. Кэтрин отвела глаза.

Где Гулливер встречается с великанами… Вторая часть. Бробдингнег. Страна великанов. Значит, полка… вторая? Она прошла вдоль стеллажей, читая таблички. «История». «География». «Естественные науки». А вот — «Путешествия». Вторая полка сверху.

Там, между «Путешествием на "Бигле"» Дарвина и толстым томом о Тибете, торчал уголок кремовой бумаги.

Кэтрин вытащила записку.

«Обещание. Я знал, что вы ответите.

Пятая загадка. Чем больше её сушишь, тем мокрее она становится.

Ответ — в Шекспире. Та пьеса, где влюблённые встречаются ночью и прощаются на рассвете. Первое издание вам трогать не позволю (вы знаете, что случилось с последней дамой). Но фолио 1858 года стоит на нижней полке у окна.

Н. Г.»

Полотенце, подумала Кэтрин. Это же совсем детская загадка.

А потом перечитала вторую часть — и почувствовала, как вспыхнули щёки.

«Та пьеса, где влюблённые встречаются ночью и прощаются на рассвете». «Ромео и Джульетта». Ночь. Рассвет. Три часа утра на каминных часах.

— Невыносимый человек, — сказала она вслух пустой библиотеке.

И пошла к нижней полке у окна.

* * *

В «Ромео и Джульетте», между страницами второго акта — сцена в саду, конечно, где же ещё, — лежала третья записка.

«Полотенце. Слишком легко, я знаю. Это для того, чтобы вы улыбнулись. Вы улыбаетесь?

Последняя загадка на сегодня. Без подсказки.

Я жду и не устаю ждать. У меня есть кожа, но нет тела. Есть застёжки, но нет одежды. Во мне сотни людей, но ни одного живого. Я старше этой гостиницы, старше этого города, каким вы его видите, и старше всех, кто в нём живёт. И я по-прежнему жду вас на верхней полке.

Можете прийти в любое время. Даже днём. Даже когда меня — второго, который ждёт, — не будет рядом.

Н. Г.»

Кэтрин подняла голову.

Над ней, на самой верхней полке, под потолком, стоял огромный фолиант в потемневшей коже с медными застёжками. «De humani corporis fabrica». Везалий. Сотни людей на его гравюрах — без кожи, с обнажёнными мышцами, со скелетами, позирующими на фоне итальянских холмов. Триста тридцать лет.

А рядом с полкой, у стены, стояла бронзовая лестница. Ступени её были аккуратно обмотаны полосками мягкого зелёного сукна.

Чтобы не скользили.

Кэтрин стояла посреди библиотеки, прижимая к груди записку, и чувствовала, как что-то тает у неё внутри. Медленно, неотвратимо, как лёд на реке весной.

Он обмотал ступени сукном. Чтобы она больше не упала.

Она улыбалась. Она поймала себя на этом и не смогла остановиться.

Да, мистер Голдсмит. Я улыбаюсь.

* * *

Натан Голдсмит получил письмо от матери в тот же вечер.

Его принёс лакей на серебряном подносе в кабинет на шестом этаже, где Натан просматривал счета. Знакомый конверт из плотной голубой бумаги. Знакомый почерк — высокий, наклонный, без единой помарки. От конверта пахло, как всегда, розовой водой и немного камфарой.

Натан вскрыл его ножом для бумаг.

«Мой дорогой сын!

Я не видела тебя уже три недели. Ты пишешь, что занят. Ты всегда занят. Твой отец тоже всегда был занят, и я овдовела в сорок шесть лет.

В четверг я буду ужинать в твоей гостинице. Не одна. Со мной будут Мозесы: Самуэль, его жена Хана и их младшая дочь Сарра. Ты помнишь Сарру? Ты держал её на руках, когда ей было три года. Теперь ей восемнадцать. Она очень выросла, Натан. Очень.

Самуэль Мозес — один из самых уважаемых людей в нашей общине. Его банк ведёт дела с половиной Сити. У него четыре дочери, и три уже замужем — все прекрасно. Сарра последняя и, говорят, самая красивая.

Я не прошу тебя ни о чём, кроме ужина. Закажи хороший столик. Будь любезен. Улыбайся. Ты умеешь, когда хочешь.

Тебе тридцать пять лет, сын мой. Твой отец в твоём возрасте имел троих детей. Я не вечна. Я хочу увидеть внуков прежде, чем увижу Создателя.

Твоя любящая мать,

Ребекка Голдсмит.

P.S. Я слышала от миссис Леви, что ты слишком много времени проводишь в своей библиотеке. Книги не согреют тебе постель, Натан. И не прочитают кадиш над твоей могилой».

Натан долго сидел над письмом.

Потом аккуратно сложил его, положил в ящик стола и запер на ключ.

Мать не знала. Не могла знать. Но в постскриптуме, как всегда, попала точно в цель.

Он подошёл к окну. Внизу, на Пикадилли, зажигались фонари. Где-то тремя этажами ниже, в номере триста шесть, окнами в парк, сидела над анатомией девушка с серыми глазами. Он знал, что сегодня она приходила в библиотеку: Уэбб доложил, что «Ромео и Джульетта» стоит не на своём месте, а записки исчезли.

Девушка, которая не была еврейкой. Которая, узнав, что он владелец гостиницы, побледнела — а узнав, что он еврей, не изменилась в лице вовсе. Которая сказала «этого не было» — и пришла за его загадками.

«Будь любезен. Улыбайся».

Он будет любезен. Он закажет лучший столик. Он сделает всё, что полагается сыну.

Но мать сказала главное, даже не подозревая об этом: он умеет улыбаться, когда хочет.

А хотел он сейчас только одного.

* * *

Ужин в четверг стал для Кэтрин катастрофой.

Всё началось с того, что Гортензия настояла спуститься в ресторан. «Мы не можем вечно сидеть в номере, как отшельницы, Кэтрин! В четверг в ресторане будет полгорода, леди Пембертон заказала столик, и я обещала, что мы подойдём». Кэтрин попыталась сослаться на мигрень — тётушка и слышать ничего не хотела. Элинор сочувственно пожала плечами.

Пришлось надеть жемчужно-серое дневное, переделанное горничной в вечернее, — не фиалковое, на это у Кэтрин не хватило бы духу. Пришлось спуститься по мраморной лестнице, мимо закрытых дубовых дверей библиотеки. Пришлось войти в сверкающий зал, полный света, хрусталя и голосов.

И первое, что она увидела, — был он.

Натан сидел за большим круглым столом в центре зала, у фонтана. Безупречный фрак, белоснежная манишка, та самая лёгкая усмешка. Рядом с ним — пожилая дама в чёрном шёлке и жемчугах, с серебряными волосами, уложенными короной, и прямой, как у королевы, спиной. Напротив — грузный господин с седой бородой и золотой цепью на жилете, и полная дама в бордовом бархате.

А по левую руку от Натана сидела девушка.

Кэтрин остановилась так резко, что Элинор, шедшая следом, едва на неё не налетела.

Девушке было лет восемнадцать — не больше. Она была маленькая, тоненькая, как статуэтка, в платье из белого газа, расшитого крошечными серебряными звёздами. Но главным были волосы. Чёрные, блестящие, они падали ей на плечи густыми, тугими кудрями — непослушными, буйными, никак не желавшими укладываться в причёску, — и в них, как роса, поблёскивали мелкие жемчужины. Лицо у неё было нежное, смуглое, с ямочками на щеках, а глаза — огромные, тёмные, бархатные, в густых ресницах, — сияли.

Она сияла вся. И смотрела на Натана так, как смотрят на солнце.

Кэтрин видела, как она что-то сказала ему, смеясь, — и легко, будто так и полагается, коснулась кончиками пальцев его рукава. Видела, как Натан наклонил к ней голову и ответил. Видела, как пожилая дама в чёрном — его мать, это могла быть только мать, тот же резкий профиль — посмотрела на них с довольной улыбкой.

— Кто это? — услышала Кэтрин собственный голос. Он звучал странно — глухо, будто издалека.

— Это мисс Сарра Мозес, — с удовольствием сообщила леди Пембертон, к столику которой они как раз подошли. Леди Пембертон знала всё обо всех. — Младшая дочь Самуэля Мозеса, банкира. Говорят, у неё приданое сто тысяч. А это мать мистера Голдсмита. — Леди Пембертон понизила голос. — Все говорят, что дело решённое. Старуха Голдсмит давно мечтает его женить, а Мозесы — лучшая партия в их общине. Девочка в него влюблена с детства. Ну, вы сами видите.

Кэтрин видела.

* * *

Она сидела за столиком леди Пембертон, ковыряла вилкой рыбу, которая казалась ей картоном, и смотрела.

Не хотела смотреть. Приказывала себе не смотреть. И всё равно смотрела.

Сарра Мозес смеялась — звонко, как колокольчик. Сарра Мозес рассказывала что-то, взмахивая маленькими смуглыми руками, и все за столом улыбались. Сарра Мозес поправила кудри — и жемчужинки в них вспыхнули под люстрой. Сарра Мозес была юной, свежей, прелестной, богатой. Сарра Мозес была еврейкой. Сарра Мозес была именно той, кого его мать, его община, весь его мир ждали рядом с ним.

А кто такая она, Кэтрин Мэйфилд?

Двадцать один год — почти старая дева по меркам лондонских гостиных. Провинциалка из дербиширской глуши. Дочь сельского доктора, без дома, с тремя тысячами, которых едва хватит на учёбу. В переделанном дневном платье. С длинным носом — тётушка всегда говорила, что нос у неё «отцовский, увы». Со слишком острым языком. С привычкой цитировать за ужином Карпентера. Не умеющая смеяться колокольчиком. Не умеющая касаться мужского рукава кончиками пальцев так, будто это ничего не значит.

Не еврейка.

Она вдруг увидела себя со стороны, его глазами — серую, угловатую, книжную, — и ей стало так стыдно, что захотелось исчезнуть. Что она себе вообразила? Записки, загадки, сукно на ступенях. Скучающий богатый человек развлекается. Играет с провинциальной дурочкой, которая так забавно краснеет. А женится — на этой. На кудрявой, сияющей, правильной.

Да и пусть. Ей-то какое дело? Ей не нужен муж. Ей нужна Хантер-стрит. Она сама сказала ему: «Этого не было».

Тогда почему так больно?

Кэтрин подняла глаза — и встретила его взгляд.

Он смотрел на неё через весь зал. Поверх кудрявой головки Сарры Мозес, поверх серебряной короны своей матери, поверх цветов, свечей и хрусталя. Он не улыбался. Он просто смотрел — пристально, неотрывно, будто в огромном сверкающем зале не было больше никого.

Сарра что-то ему говорила. Он не слышал.

Кэтрин первая опустила глаза. Потом отодвинула тарелку и поднялась.

— Простите, леди Пембертон. Тётя. У меня ужасно разболелась голова. Я поднимусь к себе.

— Кэтрин, ты же ничего не ела!

— Я не голодна.

Она шла через зал к дверям, держа спину прямо и подбородок высоко, как учила тётушка. Шла и чувствовала его взгляд между лопатками — так же, как тогда, в зимнем саду. И не оглянулась.

Ни разу.

Только на лестнице, когда за ней закрылись стеклянные двери ресторана, она позволила себе остановиться, прислониться лбом к холодному мрамору колонны и зажмуриться.

Ревность. Вот как это называется. Она читала о ней в романах. Она думала — это что-то глупое и мелкое, для пустых барышень.

Это было как нож под рёбра.

* * *

Мать заговорила с ним, только когда Мозесы уехали.

Натан проводил их до кареты, поцеловал руку госпоже Мозес, пожал руку Самуэлю, пообещал Сарре, что непременно покажет ей зимний сад «как-нибудь днём, когда там цветут орхидеи». Сарра вспыхнула от удовольствия и долго махала ему из окна кареты маленькой рукой в белой перчатке.

Когда он вернулся в ресторан, мать сидела за опустевшим столом одна. Прямая, неподвижная, в чёрном шёлке, со сложенными на коленях руками. Официанты бесшумно убирали посуду.

— Сядь, Натан.

Он сел.

— Сарра прелестна, — сказала Ребекка Голдсмит.

— Прелестна.

— Она тебя обожает. С трёх лет.

— Я знаю, мама.

— Самуэль сказал мне сегодня, что не будет против. Более того — он будет рад. — Мать помолчала. — Сто тысяч, Натан. И связи, которых нет ни у кого в Сити. И девушка из хорошей семьи, которая будет прекрасной еврейской женой и матерью. Чего ещё можно желать?

Натан молчал.

Мать посмотрела на него долгим взглядом — тем самым, от которого в детстве у него холодело в животе, — и вдруг сказала совсем другим голосом:

— Кто она?

Натан поднял голову.

— Не притворяйся, сын. Я не слепая. Весь ужин ты смотрел на столик у окна. На ту, в сером. Высокая, тёмные волосы, лицо как у гувернантки. Она ушла, не доев рыбу, — и ты так и не услышал, о чём тебя спрашивала Сарра. Три раза. — Ребекка Голдсмит сжала губы. — Кто она?

— Постоялица, — ровно ответил Натан. — Мисс Мэйфилд. Дочь сельского врача из Дербишира.

— Христианка.

— Да.

Мать долго молчала. Потом медленно, тяжело поднялась из-за стола, опираясь на трость с серебряным набалдашником, и посмотрела на сына сверху вниз.

— Твой прадед, — сказала она тихо, — бежал из Франкфурта с одним чемоданом. Твой дед торговал старым платьем на Петтикот-лейн. Твой отец построил эту гостиницу — и умер в долгах. Ты эти долги выплатил. Ты — первый Голдсмит, которого пускают в приличные дома. И всё это время, Натан, все эти сто лет, мы оставались собой. Мы не крестились, как другие, чтобы нам открыли двери. Мы не стыдились своего имени. Мы держались друг за друга. Только поэтому мы выжили.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.